

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



—11—

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву

Сергей Сорокин

Битва за москву 1941 - 11

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 11 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Битва за Москву)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	20
Глава 4	28
Глава 5	37
Глава 6	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 11

Москва 1941 Том 11

Глава 1



Гать просела в двух местах за ночь.

Я узнал об этом раньше, чем дошёл до неё: навстречу по тропе шёл Климов, весь в торфяной саже до бровей, и по тому, как он шёл, было ясно, что он идёт докладывать плохое.

— Товарищ капитан. Закрыл.

— Всю?

— Всю. От сухого берега и до середины. — Он присел на корточки и начертил прутиком по земле две черты. — Вот тут и вот тут. Батальон прошёл, раненых вынесли, вчера третий и шестой переходы починили. А за ночь сели другие опоры. Не провалилась — села. Под вторым настилом опора ушла в грязь на четверть, под четвёртым — наполовину.

— Люди?

— Людей я на неё не пустил.

— Правильно.

Он поднял на меня глаза, и я увидел в них то, чего не бывает у сапёров при докладе о своей работе: не вину, а упрямое ожидание, что сейчас начнут торопить.

— Товарищ капитан, я знаю, что вам надо их перевести. Я не могу за час. Мне надо две опоры вынуть и поставить новые, а их сначала вырубить.

— Сколько тебе?

— Три часа, если дадите восемь человек и топоры.

— Дам десять и возьму твои три часа, — сказал я. — Только сделай мне одну вещь сверху.

— Какую?

— Отметь край. Чтоб видно было издали, где можно ступать, а где нельзя.

Климов пошевелил губами.

— Вешки я поставлю.

— Вешки у тебя будут из чего?

— Из ольхи.

— А идти по ней будут бабы, и старики, и дети, — сказал я. — Ольховый прут на фоне болота видно за десять шагов, а старухе надо видеть за пятьдесят, иначе она пойдёт по чутью.

Он подумал и сказал коротко:

— Понял. Поищу белое.

Новые жители сидели у сухой избы на западном берегу, куда подошли ночью из окрестных деревень, и это была самая тяжёлая часть утра.

Их было шестьдесят с чем-то: в основном женщины, старики и дети, — остатки трёх деревень, которых немцы согнали к болоту и не успели угнать. Ночью, когда мы их выводили, они шли молча и слушались каждого слова. Сейчас, при свете, когда стало видно, что война отодвинулась, они опомнились, и с ними стало трудно.

Я подошёл в ту минуту, когда это уже перевалило в ропот.

— Да вон же она, дорога! — говорила рослая женщина в платке, сбившемся на затылок, и показывала рукой через болото. — Вон она, вся видна! Кулиничиха оттуда пришла, я её сама видела, вон она у нашего плетня стоит!

— Стоит, — сказал кто-то. — Значит, ходят.

— Значит, ходят, а нас держат.

Зося стояла перед ними — маленькая, в мужском пиджаке поверх платья, с обгоревшим левым рукавом, — и я приготовился, что сейчас она начнёт их уговаривать, и приготовился помогать.

Она не стала уговаривать.

— Марья Степановна, — сказала она женщине в платке. — Кулиничиха пришла по этой гати?

— По этой.

— Нет. — Зося повернулась и показала совсем в другую сторону. — Кулиничиха пришла кругом, через Малое Заречье, она там ночевала у сестры. Она вам сама сказала, я слышала.

Женщина осеклась.

— Ну... кругом.

— Кругом — это шестнадцать вёрст, — сказала Зося. — Кто из вас хочет шестнадцать вёрст с Прокопьевной и с детьми — идите, я вас не держу, только сначала посчитайте, сколько раз придётся садиться.

Она подождала, пока это уляжется, и сказала другое, и вот это было главное:

— Сейчас туда пошли сапёры. Их десять человек и с ними наш Климов. Они меняют два бревна. Когда они вернутся оттуда и скажут — пойдёт первая группа. Первыми пойдут Прокопьевна, Оля с младенцем, дед Тарас и с ними трое взрослых. Потом вторая. Я сейчас напишу, кто в какой.

И достала из-за пазухи сложенный лист и обломок карандаша, и села прямо на порог, и начала писать.

И ропот кончился. Не потому, что она их убедила, а потому, что появился список и очередь, а очередь — это то, что человек понимает телом.

Через полчаса она подошла ко мне сама.

— Товарищ капитан. Вашему сапёру нужно белое?

— Нужно.

— Пойдёмте.

Мы зашли в избу. Там было пусто и пахло гарью — торф горел второй месяц где-то за озерцом, и этот запах уже никого не удивлял, он просто стоял везде, как туман.

Зося вытащила из-под лавки узел, развязала и стала перебирать.

Там было бельё. Не новое — стираное, штопаное, с пожелтевшими сгибами, но чистое, сложенное в стопку, как складывают только в тех домах, где ещё недавно был порядок.

— Вот, — сказала она и вытянула простыню. — Это школьное.

— В смысле?

— У нас при школе был интернат для дальних. Шесть коек. — Она разложила простыню на колене и стала рвать её по долевой, ровными полосами, зубами надрывая край. — Три года лежало в подполе. Я думала, детей укрывать.

— Детей и надо укрывать.

— Детей я укрою пиджаками, — сказала Зося, не поднимая головы. — А вот баба Прокопьевна ваш ольховый прут не разглядит. Она и меня-то за два шага узнаёт по голосу, а не по лицу.

Она нарвала одиннадцать полос и свернула в тугой ком, и отдала мне, и вытерла руки о юбку, будто сделала грязную работу.

— Только пусть ваш их привяжет, где надо, — сказала она. — А не где красиво.

Климов привязал их, где надо.

Он поставил свои вешки не по оси гати, а по краю той полосы, которую сам прошёл и промерил шестом, — и полоса эта оказалась не посередине настила, как все думали, а ближе к правой стороне, потому что слева под брёвнами шла старая канава, заплывшая, и там держало хуже.

— Идти правее вех, — сказал он мне, вытирая лоб рукавом и размазывая сажу. — Не между. Правее. Слева не обвалится, но продавит, и тогда я опять закрою.

— Люди пойдут, как привыкли, — сказал я. — Посередине.

— Значит, кто-то должен стоять и говорить.

Мы поставили двоих: одного у входа, второго на середине. Они не командовали, они просто стояли и повторяли одно и то же, как заведённые: «правее ленточек, мамаша, правее».

Первую группу собрали у входа на настил в половине одиннадцатого.

Впереди встал сержант Левченко — из тех, кого прислал Юдин из учебного, и я до сих пор не привык, что эти мальчишки уже сержанты и что они знают вещи, которым я учил их наставника. Левченко подставил локоть бабе Прокопьевне и подождал, пока она переставит палку. На гати ему предстояло идти в её шаг.

Замыкать должен был Кутепов — тот, кого Опарин когда-то водил по учебной канаве, а теперь старшина в третьей роте. Ему я поручил подбирать обрonnenное и смотреть, чтобы никто не остался на площадке.

А между ними поставили женщин, и вот тут пришлось вмешаться, потому что первая же из них, Оля с младенцем, взяла ещё и узел.

— Клади, — сказал я.

— Так он лёгкий.

— Он лёгкий, пока у тебя рука свободная. Ты сейчас пойдёшь, у тебя дитё на одной, узел на другой, а держаться нечем.

— А кто понесёт?

— Кутепов понесёт, у него руки пустые. Иван, подойди сюда.

Старшина вышел из хвоста к нам, пока очередь ещё стояла на сухом.

— Он чужой, — сказала Оля и прижала узел крепче.

Тут Зося, стоявшая рядом, сказала:

— Оля. Он не чужой, он наш, он у Кулиничей на постое. — И, повернувшись к Кутепову: — Как вас зовут?

— Иван.

— Оля, это Иван. Он тебе донесёт до того берега и отдаст в руки, а не понесёт дальше.

Она отдала.

Я потом смотрел, как они идут — двенадцать человек цепочкой, редко, шагов через пять друг от друга, по правой стороне настила, вдоль белых полос, которые шевелил ветер, — и как на середине они все, один за другим, замедлялись в одном и том же месте, там, где под ногами чавкало, и как Левченко каждый раз оборачивался и говорил одно слово, и они шли дальше.

Тяжёлых несли отдельно, третьим заходом.

Их было четверо: двое раненых из вчерашних, один старик с сердцем и женщина, которую вынули из погреба в горящей деревне и которая не говорила, а только смотрела. Носилки по настилу шли плохо: носильщики торопились, наступали одновременно на одну поперечину и сбивались. Приходилось заново напоминать вчерашний порядок — не в ногу, с перехватом на площадках.

Климов, глядя на первый заход, остановил их на середине и переложил задачу: поставил третьего впереди каждого носилок. На расширениях тот придерживал брус, на узком шёл на шаг впереди и предупреждал.

— Яма. Держи левее. Стой. Пошёл.

За две ходки перенесли всех.

На дальнем конце их принимала дорожная команда из тыла — сержант в пилотке, с двумя бойцами и повозкой, — и вот тут я не ушёл, хотя мог бы.

Я обошёл всё сам, потому что знал цену слову «приняли».

— Вода есть?

— Так точно, привезли бочку.

— Покажи бочку.

Бочка была. Кружки при ней не было, и люди пили из ладоней, наклоняя кран.

— Кружку.

— Товарищ капитан, кружка одна на нас троих.

— Тогда ставь свою и пей после всех, — сказал я. — Это не наказание. Это очередность.

Место для сидения тоже оказалось не там: они посадили детей на сложенные жерди, на самом ветру, потому что там было сухо. Я велел перенести жерди за стенку сарая, в затишек, и сарай заодно осмотреть, и в сарае нашлась солома.

— Носилки принял?

— Принял, товарищ капитан. Четверо. Двое лежачих — сейчас увезу, повозка вернётся за остальными через час.

— Через час — это ты мне сейчас говоришь или это правда?

Сержант посмотрел на меня без обиды.

— Это правда. До приёмного пункта меньше двух вёрст, дорога сухая; лошадь свежая, там уже ждут.

Зоя стояла в стороне и считала своих по головам — считала уже третий раз, я видел, — и когда я подошёл, она сказала:

— Шестьдесят три. Все.

— Все и приняты?

— Приняты, — сказала она. — Он мне сказал, кто уже дошёл до Малого Заречья, — она кивнула на сержанта. — Назвал по фамилиям, я сверила.

— Тогда я оставляю ремонтную смену и снимаю своих.

— Снимайте, — сказала она. И, помолчав, добавила без всякой торжественности: — Я думала, вы уйдёте раньше.

— Я и хотел уйти раньше, — сказал я. — Мне в батальоне надо быть.

— Я знаю, что вам надо. — Она подобрала с земли обрывок белой полосы, который сорвало ветром, и сунула в карман пиджака. — Идите.

Склад у взятого узла чуть не стал бедой на следующее утро.

Немцы держали там продовольствие — не армейское, а всякое, свезённое с округи, — и когда слух об этом дошёл до людей, к длинному кирпичному строению потянулись с котелками, ведрами и наволочками.

Я успел вовремя ровно потому, что мне сказал Ершов, а Ершову сказала кухня.

— Товарищ капитан, там у склада человек тридцать, и вторая дверь не проверена.

Вторую дверь мы не проверили ночью: она была заперта изнутри, и сапёры оставили её на утро, потому что у немцев была привычка оставлять за такими дверями не только муку.

Я пришёл и увидел то, что и ожидал: толпа подступила к торцу, и кто-то уже дёргал наружную скобу.

Кричать здесь было нельзя. Крик на голодных людей действует один раз и потом уже не действует никогда.

— Отойти от двери, — сказал я громко, но не крича. — Все отойти на десять шагов. Быстро.

Отошли неохотно.

— Слушайте меня внимательно, — сказал я. — Я не запрещаю еду. Еда будет. Я вам показываю, где будет выдача.

Я прошёл вдоль стены двадцать шагов к первой двери, распахнутой настежь. Толпа двинулась следом, загремели пустые котелки; я остановился поперёк входа и дал передним подойти.

— Вот здесь. Вот здесь сейчас поставят стол, и отсюда будут давать. А вон та дверь, — я показал назад, — закрыта не потому, что там лучше. А потому, что её ещё не открывали, и пока её не открыл сапёр, туда не войдёт ни один человек, включая меня.

— А чего там? — спросил кто-то.

— Не знаю, — сказал я. — Может, крупа. А может, немец под порогом оставил гостинец. Он такое любит.

Это подействовало лучше всякого запрета.

Я поставил у той двери двоих с приказом никого не подпускать и никуда не отлучаться, и они простояли там до вечера, пока Климов её не вскрыл. Ничего там, кстати, не оказалось — старая упряжь и ящик подков. Но я об этом узнал вечером, а решение принимал утром.

Интендант наш, капитан Дудко, человек угрюмый и медленный, но честный до занудства, пришёл с ключами и с двумя мешками, и первое, что он сказал:

— Гринёв, я без описи выдавать не буду.

— Будешь.

— Не буду. Меня за это...

— Слушай меня, Никита Захарович. — Я взял его за рукав и отвёл в сторону, чтобы не при людях. — Опись у тебя займёт сколько?

— Полдня. Если с весами — день.

— За этот день вон та старуха с краю сядет и не встанет, — сказал я. — Ты видишь, какие они? Они три дня в болоте.

— Я вижу, — сказал Дудко. — И я тебе говорю: мне отвечать за расход.

— Вот и отвечай за расход, а не за опись, — сказал я. — Ершов сядет прямо у двери и будет писать не то, что лежит, а то, что вынесли. Сколько вынесли, тому и опись. Он тебе к вечеру даст бумагу с расходом.

Дудко пожевал губами.

— Это не по форме.

— Это по расходу. Форму потом подгонишь.

Он согласился — не сразу и с условием, что Ершов будет писать его почерком, то есть в его тетради и его пером, и это было смешное условие, и я на него пошёл.

Ершов устроился прямо на пороге, на перевёрнутом ящике, поставил чернильницу на другой ящик и сел так, что мимо него нельзя было пройти.

И он не спрашивал у людей документов.

Он спрашивал имя и записывал, но записывал после того, как человек получал.

— Возьмите. Теперь скажите, как вас записать.

— А если не скажу?

— Тогда напишу «женщина с двумя детьми, деревня Рудня», — говорил Ершов невозмутимо. — Но лучше скажите, потому что через неделю вам понадобится справка, а я к тому времени уеду.

К полудню там уже кипела жизнь, и кипела она без нас.

Женщины принесли из деревни два котла, поставили их на кирпичи, натаскали воды, развели огонь. Немецкая крупа была странная — крупная перловка вперемешку с чем-то ещё, — и они над ней сначала ахали, потом ругались, потом сварили.

Первый суп, который в этой деревне сварили за три дня, пах дымом, потому что весь мир тогда пах дымом.

Александра приехала с медицинской летучкой около часа дня.

Я увидел её, когда она уже работала: сидела на корточках возле старика из ещё не вывезенных семей, держала его за запястье, и рядом стоял врач и что-то писал.

Я не подошёл. Подошёл через двадцать минут, когда она распрямилась.

— Здравствуй, — сказала она, не удивившись. — Мне сказали, это твой батальон тут всё устроил.

— Не я. Их учительница.

— Учительницу я видела, — сказала Александра. — Учительница у тебя лучше иного политрука.

Она оглядела двор, кухню, очередь, Ершова на пороге, и лицо у неё стало озабоченным.

— Кто у вас решает, кому сколько?

— Пока никто. Дают всем одинаково.

— Вот это и плохо, — сказала она. — Андрей, мне сейчас нужно пятнадцать минут и место, где меня будет слышно.

Она встала на тот же порог рядом с Ершовым и сказала, не повышая голоса, но очень отчётливо — так, как говорят с людьми, которые боятся:

— Товарищи. Я фельдшер. Я не буду отбирать у вас еду. Слушайте меня про другое.

Очередь притихла.

— Есть люди, которые не ели по-настоящему больше недели. Вот они, я их знаю, я сейчас с ними сидела. Им нельзя сразу полную миску. Не потому, что жалко, а потому, что они от неё могут умереть. Это не сказки, я это видела своими глазами четыре раза.

— Как — умереть? — спросила женщина в переднике. — От еды?

— От еды, — сказала Александра. — Желудок отвык. Им надо понемногу и часто: полкружки сейчас, полкружки через час, и жидкое. А дальше врач скажет по каждому. Не прибавляйте сами, даже если просит.

— А кто ж их кормить будет каждый час?

— Мы, — сказала Александра. — И вы. Я сейчас скажу, кому, и покажу, чем.

И дальше она работала уже с женщинами, не с нами: показывала, как разбавлять, кому давать сначала отвар, а кому можно гущу, и они слушали её так, как слушают человека, который знает про тело.

Заминка случилась через час, и заминка вышла обидная.

Гурин из осиповской команды — тот самый, которому я на Днепре отдал сухую рубаху, — набрал полную миску с верхом и понёс мальчишке лет семи, сидевшему у стены.

Александра перехватила его на полдороге.

— Погодите. Кому?

— Да вон, пацану.

— Он у меня в списке. Ему полкружки.

Гурин посмотрел на неё, потом на миску, потом опять на неё, и я увидел, как у него краснеет шея.

— Товарищ фельдшер. Вы что, жалеете?

— Я не жалею.

— Он же вот такой, — сказал Гурин, кивнув на тонкие мальчишечьи запястья, и голос у него сорвался. — Я ему полную несу, а вы...

— Гурин, — сказал я.

— Товарищ капитан, я не понимаю! Мы за них шли по болоту, мы их вытащили, а теперь им половником меряют!

Он говорил громко, и на нас уже смотрели.

Александра не стала ни обижаться, ни объяснять сверху вниз. Она поставила свою кружку на ящик, взяла у него через сложенную тряпку горячую миску и сказала:

— Смотри сюда. Ты ему это сейчас отдашь. Он съест всё, потому что он голодный и не остановится. Через час у него начнёт крутить живот, к вечеру у него будет понос, а завтра он будет лежать и не сможет пить. И тогда я буду его вытаскивать, и, может, не вытащу. Это не жадность. Это как с обмороженной рукой: нельзя сразу в кипяток.

Гурин стоял.

— Понял? — спросила она.

— Понял, — сказал он глухо. — А делать-то что?

— Делать вот что. — Она поставила миску на ящик и отмерила в кружку половину кружки жидкого варева, остальное оставила. Протянула ему кружку. — Неси это. Потом возвращайся: у меня одиннадцать человек, которые не могут дойти до котла. Их кормить надо там, где они лежат. Сможешь?

Он отнёс кружку мальчишке и вернулся. И носил до вечера, и к вечеру знал их всех по именам, и сам подходил к Александре и докладывал: «Этот выпил, а этот спит, я его не стал будить».

Глава 2



На третий день Ершов принёс в избу карточки из той самой коробки, которую мы с Зосей нашли вечером после взятия узла. Первую сверку сорока одной фамилии уже сделали. Теперь предстояло переснять всю пачку перед отправкой оригиналов.

Это была пачка в палец толщиной, перехваченная бумажной лентой: жёсткие серые карточки с немецкой печатной шапкой, с графами, заполненными от руки. Фамилия, имя, год, место, номер, дата отправки. На многих был штамп, на некоторых — приписка карандашом на обороте.

Последний эшелон ушёл на запад накануне нашего прихода. На сутки раньше.

Зося приняла у него пачку, положила на стол и раскрыла тетрадь:

— Тут сто двадцать восемь, — сказала Зося, сверившись с нашей первой описью.

Я сел и стал перебирать, и это была работа, от которой начинало сводить зубы: аккуратные, разлинованные, заполненные чужим ровным почерком карточки на людей, которых угнали из четырёх деревень.

— Их надо отдать в разведку, — сказал я.

— Отдадите — они уйдут навсегда.

— Не навсегда. Но надолго. И я не смогу их у них попросить обратно.

Зося положила ладонь на пачку.

— Товарищ капитан. У меня в деревне тридцать женщин, у которых там муж, сын или дочь. Они ко мне ходят каждый день. Если я им скажу, что бумаги увезли военные, — я не смогу больше сказать ничего.

Вот тут я подумал про Зимину.

Анна приехала на четвёртый день, к обеду, на попутной, и приехала не к нам — она шла за фронтом со своей редакцией, — но крюк сделала, потому что я послал ей записку через

полевую почту и потому, что Анна Зимина всегда делала крюк ради снимка, который считала нужным.

Она вошла в избу, поставила сумку, посмотрела на пачку и сказала:

— Сколько?

— Сто двадцать восемь. С оборотами.

— Тогда до темноты не успею. — Она подошла к окну, приложила ладонь к стеклу, посмотрела на свет. — Стол сюда двиньте. Вот так, чтоб свет шёл слева и не бликовал.

Двигали стол вчетвером, потом она сама его поправила на ладонь.

Первую карточку она снимала минут десять — не потому, что снимала долго, а потому, что после съёмки сказала:

— Стоп. Я не буду щёлкать сто двадцать восемь штук вслепую.

— А как?

— Сначала проверим одну.

Она проявила эту одну прямо тут же — у неё с собой был бачок и реактивы, и она затемнила чулан двумя одеялами, — и мы через сорок минут смотрели мокрый негатив на просвет у окна.

— Читается? — спросил я.

— Печатная шапка читается. А вот это, — она подвела ноготь к плёнке, не касаясь эмульсии, — это карандашная приписка, и она уходит. Тут надо ближе и надо повернуть к свету.

Она передвинула стол ещё раз, подложила под карточку белый лист и переделала.

— Вот теперь читается всё, — сказала она. — Теперь можно работать.

Работали они с Ершовым до ночи, и работа была такая, что смотреть на неё было скучно, а делать — невозможно без порядка.

Ершов подавал карточку. Зимина снимала лицевую. Ершов переворачивал. Зимина снимала оборот. Ершов клал в правую стопку и брал следующую из левой.

И вот тут он завёл правило, из-за которого мы с ним чуть не поругались.

— Оборот снимать у всех, — сказал Ершов.

— На половине оборотов ничего нет, — сказала Зимина. — Пустые.

— Всё равно у всех.

— Аня, у нас плёнки на двести кадров, а карточек сто двадцать восемь, — сказал я. — Если снимать обороты у всех, не хватит.

Ершов положил перо.

— Товарищ капитан. Разрешите объяснить.

— Объясняй.

— Если я сейчас скажу «этот оборот пустой» и мы его не снимем, — сказал он, — то через полгода кто-нибудь будет держать в руках снимок лицевой стороны и не будет знать, был ли оборот пустой или его просто не сняли. И он не сможет на это опереться. А если снят пустой оборот — это доказательство, что там пусто.

Зимина посмотрела на него с уважением.

— Он прав, — сказала она. — Плёнку я найду. У меня в запасе две катушки для редакции, отчитаюсь как-нибудь.

Отдельно лежали семь листков — не карточки, а просто бумажки, вырванные из тетради, с фамилиями, найденные там же, в ящике стола.

Ершов их не приложил ни к одной карточке.

— Почему? — спросил я.

— Потому что не знаю, — сказал он. — Тут написано «Ковалёнок М.» Вот у меня в пачке Ковалёнок Мария Ивановна и Ковалёнок Михаил Иванович. Кто из них? Если я приложу к первой попавшейся, то я не помогу, а испорчу: человека будут искать не там.

Он положил листки в отдельный конверт и надписал: «Найдены отдельно, привязка не установлена».

Зося сидела рядом весь вечер со своим листом бумаги.

Она делала третью вещь, и делала её осторожнее нас обоих.

Она записывала то, что знали жители.

— Сорокина Ганна Васильевна, — читал Ершов вслух, чтобы Зимина знала, что уже снято.

Зося поднимала голову.

— Это Ганка с Подлесной. У неё тут мать осталась, Ефросинья, и сестра в Малом Заречье.

— Записываю?

— Записывайте, но не в карточку. — Она подвинула свой лист. — У меня отдельно. Тут — со слов матери.

— А что за разница? — спросил я.

Зося посмотрела на меня так, как смотрят на способного, но невнимательного ученика.

— Разница в том, — сказала она, — что в карточке написано то, что немец записал, когда её увозил. А у меня написано то, что говорит её мать. Мать говорит: «её увезли в Германию, на завод». Мать это знает? Нет. Мать это слышала от соседки, а соседка от возчика. Если я это впишу в вашу бумагу, то через полгода кто-нибудь будет искать её на заводе в Германии, а она, может, в ста верстах отсюда в лагере.

— А если мать права?

— Тогда её найдут по карточке, — сказала Зося. — А моя бумага пойдёт приложением. Вот и всё.

Она писала своим учительским почерком, с наклоном, и ставила после каждой записи, от кого слышала: «со слов матери, Сорокиной Е. П.», «со слов соседки, Латушко А.».

С одной карточкой вышла заминка.

Она была заполнена наполовину: имя — «Стефан», год рождения, место — название нашей деревни, улица — «Подлесная, 7», и всё. Фамилии не было. В графе стояла клякса, будто у писавшего сломалось перо, и он не дописал.

— Стефан, — сказала Зося и задумалась. — Стефанов у нас двое. Стефан Кульбацкий и Стефан Драгун.

— На Подлесной кто?

— На Подлесной оба не живут, — сказала она. — Подлесная, семь — это дом Гриневичей.

Мы сидели над этой карточкой минут двадцать, и я уже готов был написать «установить не удалось», когда Зося встала.

— Я схожу за людьми, — сказала она. — Только давайте так: я их приведу по одному и спрашивать буду я, а вы сидите молча.

— Почему молча?

— Потому что вы сейчас скажете: «Не Стефан ли это Кульбацкий?» — и они оба скажут «да», — ответила она. — Они вам, военному, хотят помочь. Они согласятся с чем угодно.

Она привела сначала старуху — соседку из шестого дома.

— Тётка Юзефа, скажите мне: кто жил в седьмом доме?

— Гриневичи и жили. Анеля с мужем.

— А ещё кто у них жил?

Старуха пожевала губами.

— Так племянник же. Стёпка.

— Какой Стёпка?

— Ну ихний, сестрин сын, из Борисова. Он у них с сорок первого жил, как мать померла.

— Фамилия его?

— А по матери. — Старуха задумалась. — Мать-то Гриневичева сестра была, а замужем за... за Радкевичем, что ли. Стёпка Радкевич, вот.

Зося её отпустила и привела второго — мужика лет пятидесяти, кузнеца, который жил через дорогу.

Она задала ему те же вопросы в том же порядке и ни разу не назвала фамилии.

— Гриневичи, — сказал кузнец. — Анеля, Юзеф и парень при них, племянник. Стефан.

— Фамилия?

— Не Гриневич, — сказал кузнец уверенно. — Он мне как-то бумагу приносил подписать, там другая была. Радкевич. Точно, Радкевич, я ещё удивился: живёт у Гриневичей, а Радкевич.

Ершов записал: «Стефан; со слов двух свидетелей независимо — Радкевич; проживал у Гриневичей, Подлесная, 7».

И приписал ниже: «В лагерной карточке фамилия отсутствует».

— Вот так можно, — сказала Зося.

Утром пятого дня почтовая машина уходила в тыл, и я выпросил у неё место.

Выпросить пришлось у водителя, у сопровождающего и потом ещё раз у начальника полевой почты по телефону, потому что пакет был не воинский и шёл не по нашей линии.

— Гринёв, это гражданское дело, — сказал мне начальник в трубку. — Это в комиссию по злодеяниям или в розыск, а не ко мне.

— Правильно, — сказал я. — Именно туда я и прошу отправить. Мне от вас нужно довести пакет до города и сдать в отделение, где его примут под расписку. Дальше пусть идёт как гражданское.

— А если не примут?

— Тогда пусть привезут обратно, и я буду искать другой путь. Но пусть попробуют.

Пакетов вышло три.

Первый — оригиналы карточек, и он пошёл не в почте, а в разведотдел, потому что бумаги были немецкие и в них была не только скорбь, но и сведения: маршруты, номера эшелонов, названия мест. Я на это согласился без спора, потому что понимал: по этим номерам может найтись не одна фамилия, а весь эшелон.

Второй — снимки Зиминной, с сопроводительной, и опись Ершова: сто двадцать восемь фамилий в алфавитном порядке, с указанием, что оригиналы переданы туда-то.

Третий — список Зоси, отдельно, с надписью на обложке: «Сведения жителей. Не подтверждено документами».

Перед тем как запечатать, Ершов переписал всё в четвёртый раз — от руки, в школьную тетрадь, — и отдал эту тетрадь Зосе.

— Это вам.

— Мне?

— Вам, — сказал Ершов. — Смотрите: тут те же сто двадцать восемь фамилий, тем же порядком, и номер, под которым ушёл пакет, и адрес, куда он ушёл. Если к вам придёт человек и скажет: «А моего брата там нет», — вы посмотрите и скажете точно: нет или есть. А если он скажет: «Я вспомнил, что его увезли не в марте, а в феврале», — вы запишете вот сюда, на поля, и потом пошлёте уточнение по этому адресу.

Зося взяла тетрадь и долго смотрела на первую страницу.

— А кто-нибудь придёт? — спросила она.

— Придут, — сказал я. — Вы сами говорили: к вам ходят каждый день.

— Они ходят ко мне, потому что я тут, — сказала она. — А не потому, что верят, что найдут.

— Пусть ходят к тетради, — сказал Ершов. — Тетрадь, Зося Антоновна, это такая вещь: пока она есть, дело не закрыто.

Временную школу Зося затеяла на четвёртый день, и затеяла сама, не спросив у нас. В Гореличи, в дом Вороновых, она по-прежнему собиралась вернуться; пока несколько семей устроились возле взятого узла, и дети были здесь. Ждать две недели до первого урока она передумала.

Я узнал, когда Голубев пришёл ко мне за гвоздями.

— Товарищ капитан. Гвоздей бы. Штук тридцать.

— Зачем?

— Лавки чинить, — сказал Голубев и посмотрел на меня с некоторым удивлением, что я не знаю очевидного. — Школу открывают.

Голубев к тому времени был при нас уже больше двух лет — мастер, которого мы вывели из затопленного карьера весной сорок второго и который потом ездил с инженерной частью как специалист. Он был сутулый, утомлённый, и у него была привычка сначала сделать, а потом доложить.

Комнату Зося выбрала не ту, которую выбрал бы я.

Я бы выбрал большую избу у дороги — она была цела и в ней помещалось человек двадцать. Зося выбрала маленькую, за огородами, бывшую фельдшерскую.

— Почему? — спросил я, когда мы туда пришли.

Она ответила по пунктам, и по этим пунктам было видно, что она думала об этом не пять минут.

— Дверь закрывается, — сказала она и показала. — Вот, на щеколду. В большой избе двери нет, там проём, туда всё время кто-то ходит.

— Это важно?

— Это самое важное. — Она прошла в глубь комнаты. — Дальше. Тут сухой угол, вот здесь, у печки. Я туда положу тетради, и они не отсыреют. В большой избе течёт крыша, я смотрела.

— А третье?

— А третье, — сказала Зося, — это что от большой избы двадцать шагов до вашего склада, где грузят. Там весь день гремят ящиками и кричат. Я не смогу вести урок и каждые пять минут пережидать. Дети отвыкли слушать. Им надо, чтоб ничего не мешало.

Лавок было две, и обе разваленные. Стол нашёлся в соседней комнате; его принесли женщины и поставили у окна, а Голубев подогнал шатающуюся ножку.

Голубев принёс инструмент и работал два часа, а дети — их набралось сначала четверо, потом семеро — сидели в углу на полу и смотрели.

Один, постарше, лет двенадцати, всё время порывался помогать:

— Дяденька, давайте я подержу.

— Сядь, — сказал Голубев.

— Да я умею!

— Сядь, говорю. — Он посадил гвоздь двумя ударами, поставил следующий. — Ты мне сейчас поддержишь, я тебе по пальцу дам молотком, и будет у Зоси Антоновны в первый день урока раненый. Посиди. Потом дам тебе рубанок, будешь кромку снимать.

Мальчишка сел.

Когда лавки были готовы, Голубев не сказал «садитесь». Он взялся за угол первой лавки и качнул. Она качнулась.

— Вот, — сказал он. — А теперь смотри, что я делаю.

Он подтесал ножку на четверть пальца, поставил, качнул ещё раз, подтесал вторую.

— Теперь садись.

Дети полезли на лавки, и лавки не шатались, и это почему-то произвело на них большое впечатление.

Осипов пришёл сам, без просьбы, потому что услышал.

Он в этой деревне тянул связь и знал каждый двор, и у фельдшерской избы у него было незакрытое дело: там, над углом, висел обрывок старого провода — немецкого, с прежней их линии, — и висел он низко, петлёй, и конец качался на ветру в полутора метрах от земли.

Он пришёл с кусачками и с мотком.

— Зося Антоновна, я вам тут сниму.

— Он же не работает.

— Он не работает, — сказал Осипов. — Сегодня.

Он позвал сапёра. Тот прошёл линию до обрыва, осмотрел крепления и разрешил снять. Осипов снял провод весь, до опоры, смотал в бухту и унёс. И перед уходом сказал взрослым — не детям, а именно взрослым, двум женщинам, стоявшим у калитки:

— Вот тут ничего больше нет. И если увидите, что где-то ещё висит, — не срезайте сами, позовите. Он может быть чужой и он может быть к чему-нибудь подключён.

— К чему подключён?

— К чему угодно, — сказал Осипов. — У них мины на проводе бывают.

Женщины переглянулись, и одна тут же побежала за угол — посмотреть свой сарай.

Самойлова появилась в деревне утром четвёртого дня с одним орудием и двумя машинами — её батарея шла мимо, и она остановилась на два часа для перецепки.

Вера пришла ко мне прямо на командный пункт, посмотрела на карту, спросила три вещи по делу, получила ответ и уже собиралась уходить, когда я сказал:

— У тебя пустые ящики есть?

Она подняла бровь.

— Из-под чего?

— Из-под чего угодно. Нужны коробки. Учительнице, под карандаши.

Вера постояла, соображая, и потом сделала то, за что я её всегда ценил: не стала выяснять, зачем взрослому человеку коробки, когда идёт война.

— Из-под снарядов не дам, — сказала она. — Они тяжёлые и там внутри клеймо, и вообще нечего детям возить снарядные ящики. А вот у меня есть картонки из-под приборных стёкол, четыре штуки. Пустые, чистые, с крышками.

Она принесла их сама, через полчаса, и по дороге, кажется, протёрла их тряпкой, потому что они были подозрительно чистые.

Зося взяла и сказала:

— Ой. А они крепкие.

— Крепкие, — сказала Самойлова. — Только не мочите.

И ушла к своим, и через час её орудие потянули дальше, и я даже не успел с ней толком попрощаться, и мы оба к этому привыкли.

Первый урок был на четвёртый день, в десять утра, и я на нём был не весь.

Пришло одиннадцать человек: от семи до тринадцати лет. Трое босиком. Одна девочка — с младшим братом на руках, потому что мать была на кухне у склада, и Зося её с братом пустила и посадила на край лавки.

Я принёс тетради — двенадцать штук, выпрошенных у Ершова из штабного запаса, и он их отдал со скрипом, и Дудко записал их как израсходованные на нужды батальона, и это была маленькая ложь, за которую я не краснею.

Зося раздала карандаши из картонок Самойловой — по одному в руки, огрызки, нато-ченные ножом.

— Сегодня, — сказала она, — мы будем писать своё имя.

Я стоял у двери и смотрел.

Это оказалось не так, как я думал. Я почему-то ожидал, что дети, которых три года не учили, кинутся писать. Они сидели и смотрели на карандаш.

Первым начал тот, двенадцатилетний, который рвался помогать Голубеву. Он написал крупно и криво и тут же поднял тетрадь:

— Зося Антоновна! Я помню!

— Не кричи. Покажи.

— «Владек».

— Хорошо. А теперь фамилию.

— Фамилию не помню, как пишется.

— Значит, будем учить, — сказала Зося.

Стась сидел третьим с краю и карандаш не взял. Другой Стась, не Трибуш из найденной корточки: этого мальчика недавно привела Кулиничиха.

Ему было лет десять: худой, стриженный под машинку — видно, стригли давно, потому что волосы отросли неровными пучками, — и с той особенной тишиной в лице, которую я к сорок четвёртому году научился узнавать издали.

Зося не стала его трогать сразу. Она обошла обе лавки, посмотрела чужие тетради, вернулась и села перед ним на корточки.

— Стась.

Он не ответил.

— Ты не хочешь писать?

Он покачал головой.

— Почему?

Он помолчал и сказал так тихо, что я от двери еле разобрал:

— Мама придёт — тогда.

В комнате стало тихо: дети слышат такое мгновенно.

Я стоял и не знал, что сделал бы на её месте. Наверное, сказал бы что-нибудь про то, что мама была бы рада, и это было бы ужасно.

Зося сказала другое.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда не пиши. Возьми карандаш и нарисуй свой дом.

— Зачем?

— Затем, что я не помню, какой он с той стороны, где огород. Я всегда мимо ходила с улицы.

Стась подумал. Потом взял карандаш.

Девочка, сидевшая рядом — Ганка, прижимавшая сонного брата левой рукой, — подвинулась и освободила ему место на столе, отодвинув свою тетрадь. Она не стала брать его за руку, не стала показывать, как рисовать, и не сказала ни слова.

Глава 3



Он рисовал долго, и рисовал именно дом с той стороны, где огород: с погребом, с колодой, с яблоней.

Я вышел, потому что мне надо было в батальон, а ещё потому, что я вдруг понял: я стою тут и жду, когда мне покажут результат моих тетрадей.

Зося догнала меня у калитки.

— Товарищ капитан. Спасибо за тетради.

— Не за что.

— И вот что, — сказала она. — Вы приходите, я не гоню. Но если вы будете стоять в дверях, они будут смотреть на вас, а не в тетрадь. Дети всегда смотрят на того, кто с оружием.

Я даже не сразу нашёлся.

— Понял, — сказал я.

— Не обижайтесь.

— Я не обижаюсь. Вы правы.

На другое утро я шёл мимо — не к ним, а по своим делам, на кухню, — и заглянул через плетень.

В комнате никого из взрослых ещё не было. Зося подходила только к десяти.

А лавки уже стояли. Кто-то их вынес на середину и поставил ровно, как вчера. Картонка с карандашами стояла на подоконнике, и над ней сидели двое и делили огрызки, и Владек говорил:

— Нет, этот Ганкин, у него грифель толстый.

И ещё: они ждали одного, которого не было, и Владек сбегал за ним через три двора и привёл, и я слышал, как он на бегу орал:

— Митька, давай, она уже идёт!

Хотя она ещё не шла.

С Александрой мы увиделись вечером пятого дня, и увиделись в первый раз за эти дни по-человечески, а не через чужие носилки.

Летучка стояла у околицы. Она отработала смену и вышла, и мы сели на брёвнах за избой, где сушилось бельё и где никого не было.

Было светло — в июле в Белоруссии темнеет поздно, — и пахло не дымом, а сеном, потому что ветер повернул.

Она сидела и разбирала свою сумку: вытряхивала, перекладывала, выбрасывала в траву смятые бумажки. Это у неё была такая привычка после смены — приводить в порядок что-нибудь маленькое.

И из бокового кармана вместе с чем-то выпал ключ.

Он упал в траву, и я поднял.

Ключ был старый, длинный, с бородкой в три зуба и с круглым кольцом, и на кольце было намотано три витка суровой нитки — чтобы, наверное, не звенел.

— Это что? — спросил я.

— Это ключ, — сказала Александра.

— Это я вижу. От чего?

Она протянула руку, и я отдал, и она подержала его на ладони.

— От квартиры на Мещанской, — сказала она. — Второй этаж, дверь налево. Там теперь ничего нет.

Я не знал, что сказать, и сказал глупость:

— Совсем ничего?

— Стена есть, — сказала Александра спокойно. — Внешняя стена стоит, и окно. А внутри нету ничего, с сентября сорок первого. Я туда ездила в декабре, когда меня на два дня отпускали. Постояла на улице и уехала.

Она повертела ключ.

— Я его с собой вожу третий год. Сама не знаю зачем. Сначала думала — вдруг починят дом. Потом думала — ну пусть просто будет.

— И?

— И вот что, Андрей Кузьмич. — Она подняла на меня глаза. — Я больше не хочу возить его просто так. Я не хочу, чтоб у меня в кармане лежала железка от того, чего нет. Пусть он лежит от того, что будет.

Я сидел и молчал, и молчал дольше, чем следовало.

— Ты меня понял? — спросила она.

— Понял, — сказал я. — Я думаю, как ответить, чтоб не сказать глупость.

— Скажи глупость.

— Мне нужна дверь, — сказал я. — Та, о которой мы на Днепре договорились. За которой мы оба. Я про неё пишу и думаю, а сейчас ты положила ключ мне в ладонь — и я опять не умею ответить.

— Тогда скажи ещё раз. Живым голосом, не в письме.

— Всё равно каждый раз страшно. Говорить такое на войне — будто расписываться за то, что доживёшь.

Александра засмеялась — коротко, устало.

— А молчать — это как будто ты уже не доживёшь, — сказала она. — Выбирай, что хуже.

Я полез за пазуху и достал то, что таскал там с осени.

У меня во внутреннем кармане, в клеёнке, лежало немного: копия снимка отделения сорок первого года, детская карточка Гнутова, письма — её и ещё два. И там же была наша с ней фотография, сделанная Зиминной прошлой осенью, после Днепра.

Я отдал ей отпечаток.

Он был мятый по углу и с белой полосой от сгиба.

На снимке мы стояли у стены санитарного вагона: она в халате поверх гимнастёрки, я в шинели, и между нами на подоконнике вагона стояла кружка, а я почему-то держал в руке вторую — держал за доньшко, как держат гранату.

Александра взяла снимок и стала смеяться раньше, чем я успел что-нибудь объяснить.

— Господи, — сказала она. — Кружка.

— Что кружка.

— Ты её держишь, как будто сейчас метнёшь.

— Мне её Зимина всучила за секунду до того, — сказал я. — Сказала: у вас руки пустые, возьмите что-нибудь. Я и взял.

— Ты вот такой и есть, — сказала она, разглядывая. — Тебе дают кружку, а ты берёшь её так, чтоб удобно было бросить.

— Отдай.

— Не отдам. — Она прижала снимок к груди. — Это теперь моё. У меня твоих карточек две, и на обеих ты не улыбаешься.

— Я улыбаюсь.

— Ты делаешь лицо, как будто тебе сейчас доложат плохое.

Мы сидели, и она разглядывала снимок, и ключ лежал у неё на колене, и я вдруг поймал себя на том, что представляю комнату. Конкретную. С окном.

— Занавески, — сказал я вслух.

— Что?

— Занавески надо будет. На окно.

Александра посмотрела на меня с интересом.

— Какие?

— Ну какие. Тёмные.

— Почему тёмные?!

— Потому что немаркие, — сказал я. — Светлые ты через месяц застираешь, и они станут серые.

Она села прямо.

— Андрей. Я четыре года живу в сером, — сказала она. — Я сплю в сером, я хожу в сером, у меня руки в сером до локтя. Ты мне предлагаешь повесить на своё окно тёмную тряпку, чтоб она не пачкалась?

— Она будет практичная.

— Она будет как маскировка, — сказала Александра. — Я не хочу дома маскироваться. Я хочу, чтоб в окне было светло и чтоб от занавески на пол ложилось жёлтое.

— Жёлтое.

— Жёлтое, — сказала она твёрдо. — Или белое с прошивкой. У нас на Мещанской были белые, мама их крахмалила.

Я хотел сказать, что крахмалить в наших условиях негде, и не сказал, потому что вдруг увидел то, что она говорит: полосу света на полу, и что в этой полосе сидит кошка или ребёнок, или просто лежит свет, и что за этим окном не надо ничего затемнять к вечеру.

— Ладно, — сказал я. — Пусть светлые.

— Ты уступаешь, чтоб я замолчала?

— Нет. Я представил и увидел, что ты права.

Она недоверчиво прищурилась, потом смягчилась.

— Ну хорошо, — сказала она. — Тогда я тебе уступлю в другом. Дверь будет с хорошим замком.

— С этим ключом не подойдёт.

— С этим не подойдёт, — согласилась Александра и взяла ключ с колена. — Этот пусть лежит отдельно. Вместе с письмами.

Она завернула ключ и снимок в один платок, вместе, и убрала в ту же сумку, в боковой карман.

Мы просидели ещё полчаса и ни разу не сказали «когда кончится война». Мы говорили про то, где может быть эта комната: она хотела при больнице, потому что при больнице всегда дают жильё; я говорил, что при больнице комнаты сырые. Мы поругались про сырость и помирились, и поцеловались, и она сказала, что от меня пахнет торфом, и что она этот запах теперь всю жизнь будет помнить.

— Мне пора, — сказала она, вставая.

— Когда вас двинут?

— Не знаю. Наверное, вслед за вами.

Она поправила сумку на плече, и ключ звякнул через ткань — глухо, потому что был обмотан ниткой.

Пять дней мы жили как люди, и я это запомнил по мелочам, а не по крупному.

Мылись по сменам, в шатре, поставленном у ручья, — и первая смена была не по старшинству, а по очерёдности выхода: те, кто пойдёт первым, моются первыми, потому что их могут поднять раньше. Это я объявил заранее, и это сняло половину обид.

Сапожник у нас был из нового пополнения, Кислицын, тихий мужичок, и он за пять дней перебрал восемьдесят с лишним пар, и я к нему подходил трижды и трижды видел одно и то же: он отдавал сапог не в общую кучу, а тому, кто принёс, и заставлял тут же надеть и пройтись.

— Ходи.

— Да чего ходить, всё нормально.

— Ходи, я сказал. Вон до угла и обратно.

— Ну сходил.

— Жмёт?

— Малость в подъёме.

— Значит, не малость, — говорил Кислицын и забирал обратно. — На марше твоя малость станет кровью.

Из обещанных ста двадцати к двадцать восьмому привезли семьдесят с чем-то; остальных задержали в запасной части. Прибывших распределили на второй день, и распределяли мы с Мельниковым и ротными полдня, и я держался своего правила, которое завёл ещё под Ржевом: новичка не ставить к новичку.

Мельников ворчал.

— Не выйдет по двое. У меня в первой роте стариков всего одиннадцать, а даю им девятнадцать.

— Тогда к опытному по двое новых. Старших назовёшь поимённо. Сначала пройдёте маршрут налегке, потом с грузом; пока не научатся держать друг друга в поле зрения, на пост их одних не ставь.

Кухню и медпункт я перевёл заранее, на четвёртый день, — не потому, что они мешали, а потому, что маршрут у нас менялся, и я не хотел, чтобы в час выхода кухня стояла позади всех и догоняла.

Повар был против.

— Товарищ капитан, я тут обжился. У меня тут печь сложена, у меня тут вода рядом.

— Ты тут обжился на четыре дня. А выходим мы на север, и если ты останешься здесь, ты будешь тащиться за хвостом.

— А если не выйдем?

— Тогда сложишь печь на новом месте, — сказал я. — Она у тебя из кирпича, а кирпич мы возим.

Он ворчал ещё день, а потом сам пришёл и сказал, что на новом месте лучше, потому что ветер в другую сторону и дым не идёт на людей.

Приказ пришёл на пятый день в семь вечера.

Я сидел в избе с Ершовым и разбирал ведомость на обувь, когда вошёл связной от комбрига, и по его лицу я всё понял раньше, чем он раскрыл рот.

Мы уходили не через двое суток. Мы уходили в час ночи.

Шесть часов.

Первые тридцать секунд у меня в голове было пусто и звенело, как всегда в таких случаях, а потом стало хорошо: потому что я вспомнил, что мы сделали за эти дни, и понял, что шесть часов — это много, если люди вымыты, обуты и накормлены.

— Ершов. Зови ротных. Не сюда — я сам обойду. Мне нужен один ответ от каждого, и я буду спрашивать не «готовы ли вы».

— А что?

— Я буду спрашивать: кого ты можешь поднять прямо сейчас и что у тебя не пришло.

Я обошёл их за час.

В третьей роте — Кутепов доложил за ротного, потому что ротный был на дальнем посту: две трети готовы полностью, у третьего взвода нет патронов к пулемётам, ждут подвоза.

Во второй — всё есть, но двадцать человек только что сменились с работ на гати и спят четвёртый час.

В первой у Мельникова — готовы все, потому что Мельников, как выяснилось, ещё вчера велел людям спать в обмотках.

— Ты откуда знал?

— Не знал, — сказал он. — Я так всегда, когда стоим больше трёх дней. Расслабляются. Я собрал их у себя в половине девятого и распределил не по номерам, а по готовности.

— Идём не одной колонной и не одновременно, — сказал я. — Первым идёт Мельников: у него всё есть и люди спали. За ним — вторая рота, у неё есть боеприпас, но люди с работ; поднимем их в одиннадцать, дадим ещё два часа сна и накормим на ходу.

— А третий взвод третьей роты? — спросил Кутепов.

— А третий взвод третьей роты ждёт подвоза и выходит, когда получит, — сказал я. — И не за нами по пятам, а по маршруту, с точкой соединения. Ершов, где точка?

— Развилка у Дубков, — сказал Ершов, не заглядывая в карту. — Там их встретит проводник от Мельникова.

— Записал?

— Записал и продублирую связному.

Жаров пришёл сам, не дожидаясь вызова, и пришёл с промасленной тетрадкой.

Он был у нас с сорок второго и за эти два года из освобождённого механика стал тем, к кому идут все, у кого что-нибудь не едет.

— Товарищ капитан. Я слышал.

— Слышал — хорошо. Что у тебя на ходу?

— Две полуторки и трофейная, — сказал Жаров. — Трофейная с перебоями, я ей завтра хотел карбюратор перебрать, а теперь не успею, значит, пойдёт как есть и на ней поеду я сам.

— Мне нужно место под людей.

Он поднял на меня глаза.

— Под каких людей?

— Под тех, кого мы, может быть, отобьём, — сказал я. — Если колонну догоним.

Жаров помолчал, что-то подсчитывая.

— Под раненых или под ходячих?

— И тех и других. Считай на пятьдесят человек и считай честно.

— Пятьдесят не увезу за раз, — сказал он. — Увезу двадцать пять лёжа или сорок сидя, и то если по две ходки. Товарищ капитан, я вам сразу скажу, чтоб вы потом на меня не глядели: бортов у меня три, а ходка туда-обратно по такой дороге — полтора часа.

— Значит, планируем на две ходки и на полтора часа.

— И площадку надо, — сказал Жаров. — Чтоб не на дороге грузиться. Чтоб машина стояла, а люди шли к ней от укрытия, а не поперёк.

— Найдёшь по месту.

— Найду, — сказал он. — Я тогда с разведкой поеду вперёд, если пустите.

Самойлову я нашёл по телефону через полчаса — её батарея стояла в двенадцати километрах, и нас, по счастью, посадили на один провод через штаб бригады.

— Вера. Это Гринёв.

— Слышу, что Гринёв. Говори коротко, у меня тут сматываются.

— Нас подняли на час ночи. Идём на северо-запад, за колонной.

— За какой колонной?

— Немцы гонят людей. Наших. Разведка подтвердила: идут двумя дорогами, где-то в тридцати километрах.

В трубке помолчали.

— Гринёв, — сказала Самойлова, и голос у неё стал другой, рабочий. — Ты сейчас скажешь: «Вера, поддержи». А я тебе заранее говорю: по колонне я стрелять не буду, и никто не будет, и ты сам не попросишь.

— Я и не прошу.

— Тогда что?

— Дороги отхода, — сказал я. — Мне нужно, чтобы ты могла достать не колонну, а то, что за ней и перед ней: развилки, мосты, места, где они могут развернуться и уйти. И мне нужно, чтоб между нами был человек, который в темноте скажет тебе не «правее», а квадрат и ориентир.

— Осипов твой жив?

— Жив.

— Тогда посади Осипова на мою волну заранее, до выхода, и пусть он у меня проверит связь не один раз, а три, — сказала Вера. — И, Андрей. Если вы их догоните, я хочу знать от вас одну вещь как можно раньше.

— Какую?

— Где кончаются люди и начинается охрана, — сказала она. — Если ты мне этого не скажешь, я не выстрелю вообще. Так и знай заранее, чтоб потом не было разговоров.

— Я это и сам себе сказал, — ответил я.

Зося пришла на командный пункт в одиннадцатом часу, когда я уже стоял над картой с Мельниковым.

В этот поздний час я её здесь не ждал.

— Товарищ капитан. У меня к вам, и это, наверное, важно.

— Говорите.

— Вы ищете колонну.

— Ищем.

— У меня есть Стась, — сказала она. — Мальчик, который у меня в школе не пишет. Он был в этой колонне.

Я отложил карандаш.

— Как — был?

— Их гнали мимо нас в конце июня, — сказала Зося. — Его с матерью взяли в Подлесном. Он в дороге заболел, у него был жар, и на третьем привале мать его столкнула в канаву

и велела лежать, а сама пошла дальше, чтобы не заметили. Его подобрала Кулиничиха через сутки.

Я слушал и чувствовал, как у меня становятся холодными руки.

— Он что-нибудь говорил про колонну?

— Он мало говорит, — сказала Зося. — Но он однажды сказал одну вещь, и я её запомнила, потому что не поняла. Он сказал: «мама шла, а я ехал».

— Ехал?

— Ехал, — сказала Зося. — Я спросила, на чём. Он сказал: в автобусе.

Мельников поднял голову от карты.

— Какой автобус в колонне?

— Я не знаю, — сказала Зося. — Я вам передаю его слова.

Я подошёл к ней и сказал то, что считал тогда и считаю до сих пор самым важным из сказанного мною в тот вечер:

— Зося Антоновна. Я вас очень прошу об одном. Не расспрашивайте его сейчас сами и не приводите его сюда.

Она нахмурилась.

— Я и не собиралась его приводить. Я хотела, чтоб вы знали.

— Я знаю. Слушайте дальше. Через полтора часа сюда придут разведчики. Они захотят его расспросить, и они будут правы, что захотят. И вот тут надо сделать всё аккуратно, иначе мы сами себе всё испортим.

— Чем испортим?

— Тем, что он захочет нам помочь, — сказал я. — Ему десять лет, перед ним будут стоять взрослые с оружием, и он поймёт, что от его слов зависит, догоним мы его мать или нет. И он начнёт вспоминать то, чего не видел. Не сойдёт — именно вспомнит. Так бывает.

Зося смотрела на меня и молчала.

— Поэтому, — сказал я, — расспрашивать его будете вы, и один раз, и в вашей комнате, и при знакомом ему взрослом. И пусть он скажет только то, что видел сам. Записывайте прямо его словами, не своими.

— А если я не сумею?

— Сумеете, — сказал я. — Вы вчера при мне двух свидетелей спросили так, что я бы всё испортил, а вы нет.

Разведчики вернулись без десяти двенадцать с двумя снимками.

Это была не работа Зиминной: нам передали из штаба бригады два отпечатка аэрофото-съёмки, сделанной в тот же день после полудня, и лейтенант-разведчик привёз их в планшете, проложив газетой.

Мы разложили их на столе под лампой.

Снимок был серый, мутный по краям, с той странной плоскостью, какая бывает у видов сверху: дорога шла наискось через кадр, и по ней тянулось то, что сначала кажется царапиной на бумаге, а потом оказывается людьми.

— Вот, — сказал лейтенант и повёл карандашом, не касаясь снимка. — Голова колонны здесь. Вот тут разрыв, метров триста. Вот хвост. По длине и по плотности считаем: от восьмисот до тысячи человек.

— Охрана?

— Вот эти точки на обочине — и по ним видно, что они идут не в общем строю, а по краям. И вот, в голове, две машины. Легковая и грузовик.

— А это? — спросил Мельников.

Он показал в середину колонны.

Там, между двумя тёмными сгустками людей, стояло что-то отдельное: прямоугольник, длиннее грузовика, с более светлым верхом.

— Не знаю, — сказал лейтенант. — Похоже на автобус. Может, санитарная.

Я стоял и смотрел на этот прямоугольник, и у меня в голове стучало: «мама шла, а я ехал».

Я позвал связного из сеней.

— Приведи Зосю Антоновну. Одну, без мальчика.

— Товарищ капитан, время, — напомнил лейтенант-разведчик, накрыв ладонью край снимка.

— Я знаю, сколько времени.

Она пришла через пятнадцать минут, и пришла не одна.

Я увидел их от двери и сразу пожалел, что не сказал точнее: Зося вела за руку Стася.

— Зося Антоновна, — сказал я тихо и зло. — Мы же условились.

— Условились, — сказала она так же тихо. — Товарищ капитан, я его не расспрашивала. Я вышла, а он не спал и сидел на крыльце. Он видел, что я иду сюда. Он спросил, правда ли, что вы пойдёте за его мамой.

— И вы сказали правду.

— Я сказала правду, — сказала Зося. — Я ему за эти дни ни разу не соврала и не собираюсь начинать сегодня.

Стась стоял в дверях. Он был в чужой большой рубаше, подпоясанной верёвкой, босой, и смотрел не на меня, а на стол.

На столе под лампой лежали снимки.

Он прошёл мимо меня — я не успел его остановить и, честно говоря, не стал, — подошёл к столу и поднялся на цыпочки.

Он смотрел на серую мутную дорогу, на царапину из людей, и мы все четверо стояли и молчали, и я слышал, как за окном заводят машину.

Потом он поднял руку и показал пальцем туда, где ещё лежал карандаш разведчика, остриём к светлому прямоугольнику. Бумаги он не коснулся.

— Вот, — сказал Стась.

— Что вот? — спросила Зося.

— Автобус, — сказал он. — Я в нём ехал.

Он сказал это спокойно, и от этого спокойствия у меня по спине пошёл холод.

— Стась, — сказала Зося, присев рядом с ним. — Ты уверен? Ты его отсюда, сверху, никогда не видел.

— Он длинный, — сказал мальчик. — И крыша светлая. Нас с бугра вниз к нему вели, я крышу видел. Он такой и был.

Лейтенант убрал карандаш. Этого сходства было мало, чтобы узнавание считать доказанным, но достаточно, чтобы расспросить утром отдельно от снимка.

Он ещё постоял, разглядывая, и добавил то, ради чего, как я потом понял, он сюда и пришёл:

— Там дети.

— Где?

— В автобусе, — сказал Стась. — Там только дети. Нас туда посадили, а мамки шли пешком. Мамки сзади шли.

Он повернулся ко мне — первый раз за всё это время посмотрел прямо на меня, — и спросил:

— Вы туда стрелять будете?

Глава 4



— По автобусу стрелять не будем, — сказал я Стасю. — А остальное мне ещё надо проверить.

Снимок я передал лейтенанту. Зося увела мальчика, и в час ночи роты вышли, как было приказано. К утру мы подтянулись к Малой Гуте; сборный пункт и летучка переместились на ток за нашими исходными. Колонну ещё искали разведчики. Я заехал туда на машине Жарова: теперь Зося могла спокойно расспросить Стася, без карты, оружия над столом и чужих подсказок.

Аэрофотоснимки лежали закрытыми в планшете Ершова. По ним можно было судить о длине колонны и светлой крыше машины. Ни цвета борта, ни устройства двери на них не различить.

Зося сидела перед ним на корточках, и я стоял в трёх шагах, и мне до зуда в ладонях хотелось спросить самому, и я молчал, потому что она делала это лучше.

— Стась, — сказала она, — расскажи про автобус. Только не спеши.

— Я не спешу.

— Скажи мне только то, что ты сам видел. Не то, что тебе говорили, и не то, что тебе кажется. Ты сам в нём ехал?

— Ехал, — сказал он.

— Что ты в нём помнишь?

— Полоса. — Он провёл пальцем по доске, заворачивая у сучка. — Синяя. Она по боку идёт и под окном заворачивает. Я на неё смотрел, когда нас гнали, потому что я стоял и ждал, пока залезут.

— Синяя точно?

— Точно. Тёмно-синяя, а сверху жёлтенькое было, но облезло.

Он сказал это буднично, как говорят о вещи, которую разглядывали много часов подряд, потому что больше разглядывать было нечего.

— Ещё что? — спросила Зося.

— Дверь.

— Что дверь?

— Она не закрывалась. Её толкали вдвоём. Она сперва идёт, потом становится и скрипит, и её надо вверх подымать и толкать. — Он показал руками, как подымают и толкают, и в этом движении было больше правды, чем в любом описании. — Один раз её совсем заело, и нас полчаса не выпускали, и Верка обмочилась.

Зосин карандаш замер над строкой.

— Верка — это кто?

— Маленькая. Из нашего автобуса.

— Запомню, — сказала Зося и записала имя.

Она писала карандашом в ученической тетради в косую линейку — других у неё не было, — и писала не подряд, а столбиком: полоса синяя тёмная; сверху облезлое жёлтое; дверь передняя, перекошена, поднимать и толкать.

— А куда вас везли? — спросил Стась сам.

— Вот об этом я тебя и хотела спросить. Ты знаешь?

— На Слоним, — сказал он быстро. — Или на Волковыск.

Зося положила карандаш.

— Ты это слышал от кого-то или сам видел?

Он замялся.

— Я думаю, что на Слоним.

— Ты думаешь. А видел?

— Из автобуса плохо видно, — сказал он, и голос у него стал тише. — Там окна замазаны, только сверху щёлочка. Я небо видел. И провода.

— Вот и хорошо, — сказала Зося. — Значит, мы так и запишем: не видел. Ты мне очень помог, Стась. Ты мне помог тем, что не стал придумывать.

Он посмотрел на неё недоверчиво — он явно ждал, что его будут дожимать, и был готов придумать что угодно, лишь бы взрослым понравиться, — и, не дождавшись, шмыгнул носом.

Я вышел из сарая на солнце.

Сборный пункт мы поставили на бывшем колхозном току, в двух километрах позади наших исходных: длинный навес, весы, две телеги, полевая кухня и медицинская палатка. Под навесом на соломе сидели и лежали те, кого мы вывели из затопленной деревни несколько дней назад, и те, кто приходил сам все эти дни из лесу — по двое, по трое, целыми семьями.

Стася подобрала Кулиничиха: на привале мать столкнула заболевшего мальчика в канаву и велела лежать, сама ушла за конвоем, чтобы не заметили пропажи. Он сутки пролежал один. Про мать спрашивал редко, будто боялся истратить вопросы раньше ответа.

— Товарищ капитан.

Ершов подошёл с папкой под мышкой, как всегда, будто она приросла.

— Я взрослого нашёл. Никодим Лукич, из Речицы, он с той же колонны ушёл на четвертые сутки. Он в третьей палатке, ему ногу перевязывают.

— Он мальчика видел?

— Никак нет. Я специально смотрел: они в разных концах, и не разговаривали.

— Веди меня к нему. Планшет возьми, снимки покажем после рассказа.

Ершов перехватил папку под другую руку и повёл меня между телегами.

Никодим Лукич оказался мужиком лет пятидесяти, со ступней, разбитой до мяса, и с таким выражением лица, какое бывает у людей, которые давно решили, что их ни о чём хорошем спрашивать не будут.

Я сел рядом на ящик. Санитар смачивал присохший бинт, и Никодим сжимал пальцами край подстилки, стараясь не отдернуть ногу.

— Отец, мне нужно от вас одно. Не рассказ про всю дорогу, а одна вещь. Автобус в колонне был?

— Был.

— Опишите.

Он подумал, пожевал губами.

— Автобус городской, старый. Синий по низу, а выше не поймёшь, весь в пыли. Окошки закрашены. Детей туда сажали отдельно, взрослых не пускали, у меня свояченица просилась — не пустили.

— Дверь?

— А что дверь? — Он стиснул зубы, пока санитар отделял край повязки.

— Обыкновенная дверь?

— Да чёрт её знает, — сказал он. — Хотя нет, погоди. Заедало её. Конвойный на неё всякий раз ругался и ногой поддавал. Раз поддал, а она сорвалась и назад пошла, чуть ему по колену не дала. Он тогда орал.

— А ещё что запомнили на самой машине? — спросил я.

Никодим помолчал, пережидая боль.

— Крыло переднее мягое. Правое. Его о колесо тёрло, шофёр на остановке ломом отгибал.

Этого мальчик не называл. Ершов записал ответ и только затем развернул аэрофотоснимок. Никодим отодвинул его на вытянутую руку.

— Сверху не разберу. Длинное вон то? Может, он. Не поручусь.

— За снимок и не надо, — сказал я, принимая отпечаток и передавая его Ершову. — За то, что сами видели, спасибо.

Никодим отпустил подстилку: санитар уже накладывал свежую повязку. Два человека, которые не разговаривали друг с другом, описали одну и ту же машину.

Я поднялся с ящика и отодвинул его, освобождая санитару место.

— Отдыхайте. Больше расспрашивать не будем.

— А найдёте?

Я задержался возле него.

— Разведчики уже на дороге. Если увидят автобус, теперь узнают.

— Там моя сестра и двое её, — сказал он и отвернулся к брезенту.

Жарова я нашёл у кухни: он сидел на подножке своей полуторки, положив на колено планшет с картой, и ел из котелка левой рукой, не переставая писать правой.

— Николай.

— Сейчас, товарищ капитан. Вот тут допишу, а то забуду.

Он дожевывал, отставил котелок и повернул ко мне планшет.

— Смотрите. Дорога от Речицы на запад одна: через Малую Гуту, потом сосняком, потом мостик через ручей, потом развилка и на Дубраву. Я по ней третьего дня ездил за трофейным движком и всё запомнил.

— Мне нужно место, где колонну можно остановить.

— Остановить её можно где угодно, — сказал Жаров. — Хоть телегу поперёк положи. Вопрос не в том, где остановить. Вопрос в том, где потом людей девать.

— Объясняй.

Он ткнул карандашом.

— Вот тут, у Малой Гуты, дорога идёт по гребню, справа и слева поле голое, до леса триста метров. Остановим — и стоят они у нас на ладони. Побегут — их по чистому и положат, свои же от испуга.

— Дальше.

— Дальше сосняк, и в сосняке хорошо, но там повороты и не видно ни черта: я не буду знать, где у них голова, а где хвост. А вот тут, — он отчеркнул ногтем, — перед мостиком, дорога метров семьсот идёт в выемке. Откосы в полтора роста, слева канава, за канавой ольшаник и до него шагов двадцать.

— То есть если люди лягут за откос...

— То их с дороги не видно и достать по ним трудно, — сказал Жаров. — И вывести можно вон туда, низом, за ольшаник, и оттуда двести метров до старой торфяной дороги, по которой я подгоню машины. Мне туда пройти можно, я смотрел колею, она держит.

Он сказал это и посмотрел на меня чуть искоса.

— Я ведь понимаю, товарищ капитан, зачем вам площадка. Вам не дорогу перекрыть надо. Вам надо, чтоб было куда детей вынести.

— Именно.

— Ну, значит, выемка. Я вам больше нигде такого не найду на тридцать километров.

Разведка вернулась в четыре часа дня.

Левченко доложил стоя, как всегда, и сначала сказал то, чего не знает, — этому его когда-то выучил Юдин, а Юдина, как я подозреваю, выучил я, и вот теперь оно возвращалось ко мне через третьи руки и звучало неожиданно хорошо.

— Товарищ капитан. Чего не видел: самого конца колонны не видел: за последним грузовиком дорога уходила за поворот. Всех людей сосчитать не смог. Теперь, что видел.

— Давай.

— Колонна идёт по дороге на запад, движется медленно, часто стоит. В голове бронемашина, за ней две подводы с их имуществом. Дальше метров триста пеших, идут по обеим сторонам дороги, конвой по флангам, я насчитал девятнадцать конвойных на том куске, что видел. Дальше автобус.

— Опиши автобус.

— Синий, — сказал Левченко. — Крыло правое переднее мягкое. Окна замазаны белым. Дверь передняя, при посадке её двое открывали, и она у них шла туго.

Я посмотрел на Ершова. Ершов кивнул, не поднимая головы от своей папки.

— Дальше?

— За автобусом ещё пешие, немного, и в хвосте грузовик с тентом. В кузове человек пять и что-то накрытое. У грузовика антенна.

— Откуда знаешь, что антенна?

— Прут на кабине и растяжки, — сказал Левченко. — Я такой на «Опеле» видел в мае, товарищ старший лейтенант мне показывал.

— Где сейчас голова колонны?

— Перед Малой Гутый. Идут четыре километра в час, может, меньше: там старики и с детьми.

— Значит, у выемки они будут...

— Около восьми вечера, если не задержатся. А они могут встать: у них норма, я по следам смотрел, они на ночь всегда в деревне.

Всё сошлось: описание мальчика, описание мужика с разбитой ногой, описание разведчика, который ни того ни другого в глаза не видел.

Я пошёл обратно к сараю.

Стась сидел там же и строгал ножиком палочку — Зося дала ему нож и дело, и это было умнее любых утешений.

Я сел на корточки перед Стасем.

— Ты нам помог. Про дверь, про Верку — этого разведчики не знали. А теперь оставайся здесь, с Зосиной помощницей.

Он поднял голову, и я увидел, что он ждал другого.

— Я дорогу помню, — сказал он. — Я могу показать.

— Не можешь. Ты дорогу помнишь из автобуса, у которого окна закрашены. Ты сам мне сказал, что видел небо и провода.

— Ну я бы...

— И, — сказал я, — туда, куда мы сейчас пойдём, детей не берут. Никаких. Ни тех, кто помнит, ни тех, кто не помнит.

Зоя забрала нож, сложила и положила на брус. Он насупился, и подбородок у него задрожал, и он изо всех сил делал вид, что это от солнца.

— Там Верка, — сказал он. — Она маленькая. Она без меня не вылезет.

Я посмотрел на пустую щепку, которую он всё ещё сжимал, и протянул ладонь. Стась положил её мне в руку, не глядя. Мне пришлось сперва сглотнуть.

— Расскажи про неё. Как её позвать, чтобы она отозвалась?

— Вера. Верка. Фамилию не знаю, она с Гомеля.

— Сколько ей лет?

— Шесть. Или семь.

— А узнать её как? Во что она одета?

— Маленькая. Волосы белые. У неё кофта серая, с дыркой вот тут, — он показал на локте, — и она всё время за рукав держится. Не за руку, а за рукав.

Зоя сняла с бруса тетрадь, положила на колено и записала приметы, повторив вполголоса: серая кофта, дырка на локте.

— Стась, — сказал я. — Я не могу тебе обещать, что мы её вывезем. Я могу обещать другое: если она там, то её будут звать по имени, а не гнать в толпе. Вот этим ты ей помог сейчас, сидя здесь.

Он кивнул, не глядя.

Я оставил его с Зосиной помощницей, немолодой женщиной из той же деревни, — она при нём была вторые сутки и знала, когда он просыпается ночью.

А потом Жаров повёз меня на своей полуторке в штаб полка ломать приказ. Я попросил его дождаться: дорогу и погрузку он должен был объяснить сам.

Приказ, если говорить честно, был не глупый.

Он был составлен по сведениям, которым уже несколько дней.

Двадцать девятого июня наблюдение с воздуха дало по этой дороге движение: колонна, техника, грузовики — и в полку решили то, что решил бы всякий: отходящий транспорт бьют. Дивизион пристрелял два участка — по голове колонны у развилки и по хвосту в сосняке, — и всё, что от нас требовалось, это дать сигнал.

Штаб полка стоял в Речице, в уцелевшем доме с сорванной крышей, накрытой брезентом. Подполковник Гурьев, которого я знал третий месяц, сидел за столом без гимнастёрки, в натальной рубашке, потому что в доме было тридцать градусов, и пил чай из стакана в подстаканнике — бог знает где он его взял и возил с собой всю Белоруссию.

— Гринёв, — сказал он. — Ты почему не на месте?

— Товарищ подполковник, по колонне на дороге Малая Гута — Дубрава. Прошу отменить огневой налёт.

Он поставил стакан.

— Так. Садись и говори коротко.

Я разложил на столе то, что привёз.

— Сведения, по которым назначен налёт, — от двадцать девятого июня, с воздуха. Там сказано: транспорт. Это правда: там есть бронемашина, две подводы и грузовик в хвосте.

— Ну вот.

— А ещё там есть, — сказал я, — от четырёхсот до шестисот человек пеших. Гражданских. Угоняемых. И автобус с детьми.

— Откуда данные?

— Три источника, независимые. Мальчик, спасшийся из колонны и подобранный Кулиничихой, — описал автобус. Мужчина, сбежавший из той же колонны на сутки позже, — описал его же, и назвал приметку, которой мальчик не называл. И моя разведка, которая наблюдала колонну сегодня с одиннадцати до четырнадцати и описала автобус так же, не зная ни того, ни другого.

Гурьев отставил стакан и притянул к себе тетрадный листок, где Ершов свёл все три описания в три столбца.

Он читал долго, сверяя строки пальцем.

— Это ты хорошо сделал, что столбиками, — сказал он наконец. — Дальше.

— Дальше главное. Если мы бьём по голове и по хвосту, то между головой и хвостом идут те, кого мы освобождаем. Они побегут. Побегут в поле, в обе стороны, вразброс, и часть побежит вперёд, на разрывы.

— Я это понимаю не хуже тебя, — сказал Гурьев, и в голосе у него появилась та самая усталая жёсткость, за которой обычно следует отказ. — А теперь скажи мне, капитан, как ты остановишь бронемашину и грузовик без артиллерии. Своими сапогами?

— Не бронемашину, — сказал я. — Дорогу.

Я развернул карту Жарова.

Дальше был разговор, в котором я впервые за войну почувствовал, что говорю не как человек, которому что-то разрешают, а как человек, которому что-то поручают.

Я показал выемку перед мостиком: семьсот метров дороги в откосах, канава, ольшаник, торфяная колея за ним.

Я показал, где Климов повредит мостик — не под колонной, а перед ней, после того как головная охрана пройдёт.

Я показал, где Жаров поставит поперёк обратного проезда подбитую машину, которую он ещё позавчера присмотрел в кювете за Гутый.

Я показал два выхода для людей: низом за ольшаник и дальше по торфяной колее — и место, где их примут.

— Красиво, — сказал Гурьев. — А если они не встанут, где ты нарисовал?

— Тогда мы их не берём сегодня и ведём наблюдение дальше.

Он поднял брови.

— То есть ты допускаешь, что колонна уйдёт?

— Я допускаю, что она уйдёт на переход, — сказал я. — Я не допускаю, что мы начнём и бросим на полдороге. Если разрыва между охраной и автобусом не будет, Климов мостик не тронет, и всё отменяется до завтра. То же самое, если у самого мостика останутся пешие: ради расстояния от автобуса мы их под взрыв не подставим.

— А если завтра их посадят в эшелон?

— Тогда я буду виноват в том, что не рискнул, — сказал я. — Но я не буду виноват в том, что положил детей своими руками.

Гурьев допил чай.

— Самойлову позовите, — сказал он в дверь.

Вера вошла через десять минут — в пилотке, в сапогах не по размеру, с планшетом, и сразу, ещё от порога, увидела на столе карту и поняла, о чём речь.

— Товарищ подполковник, лейтенант Самойлова.

— Ты уже майор по поварке, — буркнул Гурьев. — Смотри сюда. Твой дивизион пристрелял два участка. Гринёв просит их не трогать. Скажи мне как артиллерист: что ты можешь по этой дороге, чтобы не накрыть людей?

Вера подошла к столу и стала смотреть, и смотрела долго, водя пальцем вдоль дороги и останавливаясь на отметках высот.

Потом сказала:

— Так: по колонне — ничего. Совсем.

— Почему? Ты же кладёшь точно.

— Я кладу точно по видимой цели с наблюдением и с пристрелкой, — сказала она. — Тут ни того, ни другого. Дорога в выемке, наблюдения у меня оттуда нет, а по пристрелянному участку я работаю по площади. Площадь не разбирает, кто в ней стоит.

— То есть ты отказываешься?

— Я не отказываюсь. — Она полезла в планшет и достала свою рабочую карту, исчерченную карандашом. — Я говорю, что могу. Могу вот тут: восточнее выемки, от поворота до одинокой ветлы. Он у меня в секторе, он открытый, и я его вижу с бугра за Гутой, я там сама лежала. Могу и за мостиком, на дальнем перекрёстке, если там не окажется пешех. И могу дать дым вот на эту границу.

— И всё?

— И всё, товарищ подполковник, — сказала Вера. — И ещё одно: я хочу, чтобы это было записано не «по колонне не бить», а с ориентирами. Потому что «не бить по колонне» мой расчёт понимает так, как понимает, а колонна движется. Через сорок минут она будет там, где сейчас пусто.

Она взяла карандаш.

— Я запишу так: разрешён огонь восточнее выемки, от поворота до одинокой ветлы, при условии, что наблюдатель видит этот участок пустым. Запрещён огонь по всей выемке между её входом и мостиком, а также всюду, где наблюдатель не видит людей и свободного промежутка до них. Если колонна подойдёт к границе — разрешение прекращается само, а не когда кто-нибудь вспомнит.

Гурьев посмотрел на неё, потом на меня.

— Вы сговорились?

— Мы два года работаем, товарищ подполковник, — сказала Вера.

Седов приехал последним, и с ним стало тесно.

Он вошёл, пригнувшись в дверях, — крупный, загорелый до черноты, с новой полевой сумкой, — и, не садясь, наклонился над картой.

Мы с ним за два с лишним года прошли от того разговора в кузове полуторки под метелью до нынешнего, и я до сих пор не назвал бы это дружбой. Это было что-то другое, для чего у меня нет слова: когда ты точно знаешь, где человек прав и где он тебя погубит, и он про тебя знает то же самое.

— Заслон где? — спросил он.

— Дальний. Вот здесь, за перекрёстком, — сказал я. — Чтобы к ним не подошла помощь от Дубравы и чтобы охрана не ушла туда с людьми.

— Взвод дам, — сказал Седов. — Больше не дам, у меня самого дыра на левом.

— Взвода хватит.

— Теперь второе. — Он ткнул пальцем в дорогу. — Мне туда идти лесом одиннадцать километров. Это два с половиной часа, если сухо, и три с половиной, если не сухо. А ночью там болотина.

— Знаю.

— Так вот, Гринёв, я тебя сейчас спрошу при подполковнике, и ты мне ответь при нём же, а не потом по телефону. — Он выпрямился. — Что будет, если я опоздаю?

В комнате стало тихо.

Года полтора назад он задал бы этот вопрос иначе: он спросил бы, что делать, если задержится, и подразумевал бы, что всё равно надо начинать. А сейчас он спрашивал по-настоящему.

— Если ты не на месте, — сказал я, — Климов мостик не трогает. Мы не начинаем. Мы ведём наблюдение и ждём, и если колонна уходит — она уходит.

— И ты это скажешь вслух, когда они будут у тебя перед носом?

— Скажу.

— Ты уверен?

— Нет, — сказал я. — Но именно поэтому я хочу, чтобы это было записано сейчас и чтобы ты имел право мне это припомнить.

Седов хмыкнул.

— Записывайте, товарищ подполковник, — сказал он. — Мне так спокойнее идти.

Гурьев раскрыл тетрадь решения, взял карандаш и записал условие. Только закончив строку, поднял голову.

— Теперь главный вопрос, и он не к вам двоим. Допустим, вы их остановили. Шестьсот человек. Куда?

Я попросил вызвать Жарова из двора. Дежурный привёл его к двери и доложил; механик снял пилотку.

— Разрешите. Я по транспорту.

— Заходи.

— Две полуторки и трофейная мои, товарищ подполковник, и автобус, если он на ходу, а он должен быть на ходу, раз их на нём везут. И ещё две подводы я возьму в хоззвезде, мне старшина обещал.

— Это сколько за раз?

— За раз мало, — сказал Жаров честно. — За раз человек семьдесят, из них лежащих десять. Поэтому я их за раз и не повезу. Я повезу тех, кто идти не может. А кто может — тот пройдёт двести метров до торфяной колеи и дальше с сопровождающими к площадке сбора. Оттуда и будем развозить, несколькими ходками. И ещё: мне нужен час на то, чтобы подогнать машины по колее к ольшанику заранее и заглушить. Если я поеду туда после начала, я приеду, когда всё кончится.

— Час у тебя есть, — сказал я.

Гурьев побарабанил пальцами по столу.

— Ладно, — сказал он. — Слушайте решение. Налёт по пристрелянным участкам отменяю. Самойловой — работать только по её записанным ориентирам, и эту запись передать в дивизион под роспись. Гринёву — окно с двадцати до двадцати трёх ноль-ноль. В двадцать три ноль-ноль, если ничего не началось, всё отменяется, и я об этом докладываю наверх сам.

— А если охрана уйдёт с людьми в лес? — спросил Седов.

— Вот тебе и резервный порядок. — Гурьев поднял палец. — Если они бросают дорогу и уходят с людьми на север, в лес, — Самойлова ставит дым на границе, Седов закрывает перекрёсток, Гринёв работает по обстановке и никакого огня по толпе, даже если тебе будет казаться, что оттуда стреляют. Понял, Гринёв?

— Понял.

— Не «понял», а повтори.

Я повторил.

— И последнее, — сказал Гурьев, и голос у него стал совсем обычный, домашний. — Гринёв. Если ты мне их всех положишь, я тебя отдам под суд и сам подпишу. А если ты их вывезешь, я тебе ничего не дам, потому что за спасённых баб и детей наград не выписывают. Ты это учиываешь?

— Учитуваю, товарищ подполковник.

— Тогда иди.

Осипов собрал командиров в половине седьмого, в лощине за Гутой, когда солнце уже пошло низко и тени от сосен легли поперёк дороги.

Глава 5



Он расстелил на траве схему связи — не карту, а именно схему: кружки и линии, кто кому и по чему, — и провёл по ней карандашом.

— Слушайте про сигналы, товарищи командиры, и, пожалуйста, слушайте до конца, а не до того места, где вам стало понятно.

Он всегда так начинал, и над ним всегда посмеивались, и всегда потом оказывалось, что он прав.

— Проводная связь у нас идёт вот сюда, на наблюдательный пункт капитана Гринёва в ольшанике, и отсюда на батарею. Дублируем ракетами, и вот тут я вас прошу запомнить твёрдо. Красная — «стой, огня не открывать». Не «противник», не «тревога», а именно «огня не открывать», потому что у нас сегодня красная будет означать людей.

— А если правда противник? — спросил Мельников.

— Тогда ты в него стреляй, а ракету не пускай, — сказал Осипов. — Сегодня ракета не для боя. Сегодня ракета для того, чтобы прекратить.

— Зелёная?

— Зелёная — «колонна остановлена, приступаем к выводу». Две зелёных подряд — «выход открыт, транспорт подавать».

Он поднял голову.

— И, товарищи командиры, самое главное. Если вы не уверены, что вас поняли, — вы не поняты. Повторите. У меня сегодня будет четыре абонента и три ракетницы, и я не хочу гадать.

Климов сидел с краю, обхватив колени, и молчал.

Он вообще стал молчаливее с прошлого года — с той трубы под станцией, после которой он полгода не мог подняться на второй этаж без остановки, — и дышал он по-прежнему коротко, особенно к вечеру.

— Григорий.

— Я.

— Твоё самое трудное — не подрыв.

— Знаю, — сказал он. — Моё самое трудное — не подрывать.

— Условия ещё раз.

Он перечислил ровно, глядя мимо меня, как ученик, не желающий сбиться:

— Первое: головное охранение прошло мостик — это мне подтверждает наблюдатель, я сам оттуда не вижу. Второе: автобус ещё не вошёл в двести метров перед мостиком. Если эти двести метров съедены — я не работаю, потому что я не знаю точно, где у него бензин и что у него в кузове сзади, а рядом дети. Третье: у мостика и на подходе к нему нет пешех, это проверяет наблюдатель. Без всех трёх подтверждений я лежу и не трогаю ничего, хоть мне сверху сам господь бог скомандуй.

— Хорошо.

— Товарищ капитан, — сказал он. — А если я один раз не так пойму?

— Ты переспросишь.

— Некогда будет.

— Значит, не сделаешь, — сказал я. — Не сделать всегда успеешь.

Он кивнул.

В девятнадцать сорок Левченко доложил: колонна прошла Малую Гуту и не встала, идёт дальше; головная бронемашина в трёх километрах от выемки.

Они шли на ночлег в Дубраву и должны были пройти выемку в сумерках.

В двадцать ноль-ноль Седов передал одно слово: «Сижу».

Он успел.

Наблюдательный пункт я выбрал в ольшанике, на бугорке, с которого выемка просматривалась почти вся: слева до поворота, справа до мостика. Осипов притащил туда аппарат и сел ниже меня, в яме, и накрылся плащ-палаткой вместе с аппаратом, чтобы не светил фонариком.

Колонна вползла в выемку в двадцать часов двадцать минут.

Сначала показалась бронемашина — приземистая, восьмиколёсная, в разводах, — и шла она медленно, покачиваясь на ухабах, и за ней шли две подводы, и на второй подводе, свесив ноги, сидели трое и один из них ел.

Потом пошли люди.

Я смотрел на них в бинокль и первые полминуты ничего не мог понять, потому что зрение не складывало это в картину. Шли не строем и не толпой — шли как идёт стадо, растянувшись на всю дорогу от откоса до откоса: женщины с узлами, старики, подростки, кто-то вёл под руку, кто-то нёс на спине, кто-то катил детскую коляску, набитую тряпьем. Шли тихо. Не было ни криков, ни плача, вообще почти не было звука, кроме шарканья, и от этой тишины шестисот идущих людей мне сделалось нехорошо.

Конвойные шли по бокам, по откосам поверху, с интервалом шагов в тридцать, и им явно было скучно и жарко.

— Голова прошла мостик, — сказал Левченко в трубку от своего куста. — Бронемашина за мостиком, подводы за ней, охрана головная — четверо — тоже за мостиком.

— Автобус?

— Автобуса пока нет. Пешие ещё идут, конца не вижу.

Автобус появился в двадцать часов сорок одну минуту.

Он выполз из-за поворота, синий, в пыли, с мятым правым крылом и белыми замазанными окнами, и шёл он на первой передаче, почти шагом, потому что впереди него шли люди и он не мог их обогнать.

— Вижу, — сказал я. — Расстояние до мостика?

— Метров шестьсот, — сказал Левченко. — Идёт медленно, между ним и мостиком человек двести пеших.

— Климов. Слышал?

— Слышал, товарищ капитан. Головное охранение прошло — подтверждено. Автобус в шестистах — это больше двухсот. У мостика пеших нет?

Левченко ответил после паузы:

— Передние уже прошли. Остальные остановились за повозкой в двухстах пятидесяти метрах от мостика. Подход пустой, вижу целиком.

— Три подтверждения есть, — сказал Климов.

— Работай.

Мостик рванул негромко.

Я ожидал, что будет страшнее: он просто хлопнул, как хлопает дверь в пустом доме, и над ним встало белое, и потом уже посыпалось — доски, щебень, — и настил просел с одного края и лёг в ручей.

И сразу же, через три или четыре секунды, за мостиком началась стрельба: это Седов взял головную охрану.

Он взял её грамотно — с двух сторон, коротко, и бронемашина успела развернуть башенку и дать одну очередь по кустам, прежде чем её достали из противотанкового ружья в борт.

А в выемке началось то, ради чего всё и делалось, и чего я боялся больше всего.

Шестьсот человек шарахнулись.

Они шарахнулись все сразу, как вода в ведре, — вперёд, к взрыву, потом назад, и в этот момент их начали давить свои же задние, которые ещё ничего не поняли, и кто-то упал, и над дорогой поднялся крик, от которого у меня заложило уши сильнее, чем от взрыва.

— Красную, — сказал я.

Ракета пошла вверх и повисла, и по всей выемке стало красно.

Стрельбы у нас в выемке не было ни одного выстрела. Ни одного. Это я говорю не хвалясь, а потому, что до сих пор помню, чего мне стоило её удержать: у меня по обоим откосам лежали две роты, и у каждого из этих людей на прицеле был конвойный, и каждый ждал.

— Автобус встал, — сказал Осипов снизу.

Автобус встал не сразу. Он проехал ещё метров сорок, вильнул и остановился боком, потому что люди шарахнулись прямо ему под колёса, и водитель, надо отдать ему должное, тормозил, а не давил.

Теперь он стоял примерно в пятистах шестидесяти метрах перед разбитым мостиком, поперёк дороги, и у меня его было видно целиком.

— Транспортники — пошли, — сказал я.

Жаров перекрыл основной обратный проезд своей подбитой машиной не сам: её толкали восемь человек, потому что заводить её было нечем, — просто выпихнули из-за поворота и бросили поперёк дороги, там, где выемка сужалась, и по полотну назад было не пройти. У самой кромки оставалась мягкая обочина: по ней машина могла попробовать вырваться, но там её ждал наш наблюдатель.

К автобусу пошли трое: Тимохин и с ним двое из отделения Гаврилюка для прикрытия.

Я смотрел на это в бинокль и, честно скажу, дважды порывался крикнуть.

Потому что Тимохин шёл не как положено — не перебежками, не пригибаясь. Он шёл вдоль откоса, в тени, спокойным шагом, и нёс перед собой, как ни странно, монтировку.

У передней двери автобуса стояли двое немцев с автоматами и, увидев его, вскинули оружие; и в ту же секунду сверху, с откоса, шёлкнули затворы, над кромкой показались стволы, и Мельников крикнул в сложенные ладони, очень громко и на плохом немецком:

— Waffen weg! Оружие на землю!

Они стояли ещё секунды три. Их было двое, а на откосе, в полусотне метров, невидимые в сумерках, лежали тридцать человек, и они это понимали.

Оружие они бросили.

Тимохин прошёл мимо них, будто их не было, к кабине, постучал монтировкой по стеклу и показал водителю: заглуши.

Водитель заглушил.

А потом рванул дверцу и побежал.

Он побежал не в поле и не к лесу. Он побежал назад, вдоль колонны, к своим — туда, где в толпе ещё оставалась охрана, и это было единственное умное, что он мог сделать, и я понял, что сейчас он добежит и там начнётся.

Мельников снял его с ног шагов через двадцать — не выстрелом, а сбив с ног прыжком с откоса, — и они покатались вдвоём в канаву, и оттуда Мельников вылез один, волоча немца за воротник.

Мотор автобуса молчал.

От автобуса прибежал связной Гаврилюка и скатился к нашей яме.

— Товарищ капитан, Тимохин просит передать: у автобуса дверь заело, изнутри её не откроют, и он её сейчас трогать не будет, потому что там дети и он их напугает. Просит разрешения оставить как есть до конца.

— Передай: разрешаю. И пусть встанет так, чтобы его из окна было видно.

— Боковые окна закрашены, — напомнил связной.

— Тогда у лобового. Пусть его видят через проход. И скажет, кто он.

Связной побежал обратно вдоль откоса.

И тут началось второе, к чему я готовился меньше.

По колонне пошла волна — не паники, а движения: кто-то в толпе сбрасывал с себя китель.

Я увидел первого в бинокль: он сорвал с себя куртку, бросил под ноги, остался в нательной рубашке и серых штанах, присел и пошёл, согнувшись, между женщин, к откосу.

Потом второго. Потом сразу троих.

Они бросали оружие в рожь и раздевались прямо на ходу, и через полминуты в шестистах людях у меня было неизвестно сколько чужих без формы, и все они шли вместе со всеми.

Я сполз к гребню, над которым Мельников уже передавал пленного бойцам.

— Мельников! — крикнул я ему. — Отставить огонь по колонне вообще! Совсем! Пары — на выходы, с откосов не сходить, ловить на выходах!

— А в толпе? — отозвался он снизу, оттирая глину со рта.

— В толпе — никак. В толпе мы их не различим, а они нас различат.

Дальше было то, о чём я потом рассказывал командирам взводов раз двадцать, и всякий раз мне казалось, что я не умею объяснить главного.

Главное было — заставить шестисот перепуганных людей лечь.

Не разбежаться, не рвануть в поле, где пулемёт с бронемшины ещё мог работать, — а лечь за откос, туда, где их не достанут, и лежать, пока мы разберёмся.

Переводчика у меня своего не было; мне его дали из полка на двое суток — младшего лейтенанта Левина, тихого очкастого человека, который до войны преподавал в техникуме и который смертельно боялся стрельбы, но никогда не отказывался идти.

Я поставил его на откосе, за толстой ольхой, и сказал:

— Только по-русски и по-белорусски. По-немецки — ни слова, иначе они решат, что это команда их конвоя, и побегут.

— Понял.

— И говорите одно и то же. Не меняйте слова. Если начнёте объяснять — вас перестанут слушать.

Он сложил ладони и стал кричать.

Он кричал одну фразу, и повторял её, и снова повторял, и голос у него сорвался на пятой минуте и стал хриплым:

— Ложитесь под откос! Мы свои, Красная армия! Ложитесь под откос, вас не тронут! Не бегите в поле! Ложитесь под откос!

Сначала ничего не происходило.

Потом в одном месте — ближе к автобусу — легла первая женщина. Легла не потому, что поверила: она просто споткнулась и осталась лежать, закрыв голову руками.

За ней легли соседние. За ними — дальше по цепочке, и это пошло по колонне, как идёт по полю ветер, и через минуту лежали почти все, и над дорогой ещё стояли несколько конвойных, искавших выход из толпы.

Некоторые не легли — и стали видны. Другие залегли вместе с людьми; этих ещё предстояло выявлять по оружию и свидетельствам, не по одной чужой рубашке.

Их брали с откосов, парами, и брали быстро, и я видел, как двое подняли руки, а третий рванул к канаве и упал, и больше не поднялся.

Людей начали выводить.

Их выводили группами по тридцать-сорок человек, низом, за ольшаник, и каждой группе давали своего провожатого, который шёл впереди и всё время оборачивался и махал рукой. Зося с медицинской группой стояла на другом конце этого пути, у торфяной колеи, и принимала.

Я сам её туда отправил ещё днём, и она не спорила, хотя ей хотелось на дорогу. Она сказала только:

— Я им нужнее там, где они сядут, чем там, где они побегут.

И оказалась права.

Потому что первое, что делали выведенные, — это садились. Просто садились на землю у ольшаника и переставали двигаться, и с ними надо было что-то делать, и она делала: поднимала, давала воды, спрашивала имя, и на её голос они шли лучше, чем на наши.

А потом мне крикнули сверху, от четвёртой пары:

— Товарищ капитан! Тут он ребёнка держит!

Я пошёл туда пригнувшись, вдоль откоса, и мне было видно уже с полпути.

Он стоял в двадцати шагах от края дороги, в неглубокой промоине, спиной к откосу, в немецких штанах и чужом гражданском пиджаке, который он, видимо, у кого-то отобрал. Левой рукой он держал за шиворот мальчишку лет восьми, поставив его перед собой, а правой держал пистолет и водил стволом.

Мальчишка не кричал. Он висел в его руке, как висит котёнок, и смотрел вниз.

— Кто стреляет — под трибунал, — сказал я громко, чтобы слышали все вокруг. — Всем лежать и не двигаться.

Ко мне подполз Седов.

Он к этому времени уже спустился со своим взводом от перекрёстка, оставив там половину, и оказался рядом — потный, в ободранной о сучья гимнастёрке.

— Твой? — спросил он, глядя туда.

— Наш.

— Он тебя не слышит и не поймёт. Переводчика сюда.

Левина привели, и он от бега и от страха сначала не мог говорить.

— Скажите ему, — сказал я, — что он может положить оружие и выйти, и его не убьют. Скажите просто и два раза.

Левин сказал.

Немец ответил длинно и зло, и я разобрал только «нет» и «стреляйте».

— Он говорит: отпустите его к своим, за перекрёсток, — перевёл Левин. — Иначе он убьёт мальчика. Он говорит, ему терять нечего, он в этом пиджаке, его всё равно расстреляют.

— Скажите, что не расстреляют.

— Он не поверит, товарищ капитан.

— Скажите, Левин. Пусть отвечает вам.

Левин снова заговорил по-немецки. Немец огрызнулся, но слушал, и переводчик повторил обещание ещё раз, медленнее.

Седов в это время отполз вправо и лёг за корнем, и я увидел, что он высматривает.

— Гринёв, — сказал он, вернувшись. — Слушай сюда. У него слева, в четырёх метрах, куст и старая воронка. Оттуда до него два шага. Я его сейчас отвлеку.

— Как?

— Голосом и головой. — Он снял каску, надел её на конец сухого сука и положил перед собой в траву, не поднимая над укрытием. — Он повернётся на движение, и в эту секунду он мальчишку держать будет хуже. Пошли туда своего, только не здорового дурака, а того, кто тихо ходит.

— Гаврилюк!

Пошёл не Гаврилюк. Пошёл боец из его отделения, маленький, кривоногий, по фамилии Сотник, бывший охотник из-под Вологды, который умел ходить так, что его не слышали свои же часовые.

Он ушёл вправо и исчез.

Седов начал говорить.

Он говорил по-русски, громко, ровно, не приближаясь, и говорил ерунду — я до сих пор помню, что именно:

— Эй! Ты, в пиджаке! Пиджак-то чужой, а? Пиджак верни, он тебе не по плечу. Я тебе свой дам, я тебе шинель дам, у меня их две. Слышь?

Немец не понимал ни слова.

Но он слышал голос, который шёл ровно и не из того места, откуда ему кричал переводчик, и он повернул голову.

И в этот момент Седов поднял каску.

Немец дёрнул стволом туда — и хватка на вороте мальчишки ослабла ровно настолько, чтобы ребёнок почувствовал.

Дети такие вещи чувствуют быстрее взрослых.

Он рванулся вперёд и вниз, выскользнул из пиджачного захвата, упал на четвереньки, проехал по глине и покатился под откос, в канаву, и исчез в бурьяне.

Немец повёл стволом за ним.

Он не успел.

Он получил очередь в грудь от Сотника, вышедшего из воронки в двух шагах слева, и ещё одну, для верности, сверху, от пары на откосе.

— Вот так, — сказал Седов, опуская каску, и голос у него был неприятный, злой. — А если б он на полсекунды раньше?

— Тогда бы мы сейчас говорили о другом.

— Вот и я про то.

Мальчишку вытащили из бурьяна. Он был весь в глине, с ободранными ладонями, и молчал, и не плакал. Боец, который его поднял, хотел было понести его смотреть на убитого — я не знаю зачем, может, показать, что тот больше не страшен, — и я успел перехватить:

— Не туда. Вниз, к ольшанику, к женщинам. Сдай с рук на руки и скажи, где нашёл.

А потом наступила та часть, которая не попадает в донесения: полторы сотни человек надо было провести двести метров по канаве, и половина из них не могла идти.

Их вели, несли, тащили.

Двух старух несли на плащ-палатках. Беременную — на восьмом месяце, и я до сих пор не понимаю, как она прошла пешком двести километров, — несли четверо, и она всю дорогу извинялась.

Я в это время стоял у автобуса и не открывал его, потому что вдоль дороги ещё стреляли.

Хвостовой грузовик всё это время пытался выбраться. Назад по полотну его не пускала брошенная машина, впереди лежали люди, а съехать на мягкое водитель боялся. Теперь, когда толпу увели, он всё-таки полез на обочину, объезжая заграждение.

Левченко прислал связного:

— Товарищ капитан, Левченко передаёт: хвостовой грузовик пошёл назад. Разворачивается на обочине. Сейчас уйдёт за поворот.

Я вернулся к Осипову и взял трубку.

— Самойлова!

Вера отозвалась мгновенно, будто сидела с трубкой у уха весь этот час, и, наверное, так оно и было.

— Слушаю.

— Хвостовой грузовик уходит на восток по дороге. У него рация. Нельзя, чтобы ушёл.

— Где люди?

— Пешие от него в трёхстах метрах и западнее. Автобус западнее. Между ним и колонной пусто.

— Мне нужно, чтоб «пусто» подтвердил не ты, а мой наблюдатель, — сказала она. — Погоди.

Полминуты в трубке было слышно, как она разговаривает со своим — не со мной.

— Подтверждено, — сказала она. — Наблюдатель видит участок от поворота до одинокой ветлы, там пусто. Кладу по дороге перед машиной, на дороге, не по машине. И дым ставлю западнее ветлы, чтобы им назад не было видно, а нашим — было.

— Работай.

Она положила три снаряда.

Первый лёг далеко впереди грузовика, метров за семьдесят, — вспышка, и в сумерках стало видно, как взлетела земля. Второй — ближе. Третьего я не разглядел, потому что грузовик встал.

Он встал и попятился, и водитель, видимо, решил, что впереди перекрыто, и в этот момент по дороге пошёл дым — низкий, белый, стелющийся, — и всё, что ему оставалось, это лезть на обочину.

На обочине он сел в песок.

Мельников со своими подошёл к нему не с дороги, а от канавы, снизу, откуда его не ждали.

Из кузова выпрыгнули и побежали двое; одного взяли, второй ушёл в рожь, и его потом нашли утром. Водитель сидел в кабине и не выходил, пока Мельников не открыл дверцу и не вытащил его за портулю.

От грузовика вернулся связной.

— Мельников передаёт: водитель взят, в кузове ящики и рация.

— Осипов!

— Иду, — сказал Осипов, передавая аппарат Бережному, и побежал.

Он вернулся минут через десять и доложил так, как докладывает человек, который сделал ровно то, о чём его просили, и не больше:

— Товарищ капитан. Рация в кузове, «торн», исправная, питание было включено. Я её обесточил и снял антенну. Передавал ли он что-нибудь до этого, я не знаю и знать не могу. Могу сказать одно: с этой минуты отсюда они никому ничего не передадут.

— Проводной у них нет?

— Провода не нашёл. Столбы вдоль дороги битые, линия давно мёртвая, я по ней прошёл двести шагов.

Я посмотрел на часы.

Двадцать один сорок семь.

С момента, когда хлопнул мостик, прошёл час и шесть минут.

За этот час мы не сделали ни одного выстрела по колонне, и я до сих пор считаю, что это было главное военное достижение всей моей войны, хотя в донесении за тот бой записано совсем другое: разгромлено охранение, захвачены бронемашина и грузовик, взято в плен столько-то.

Подполковник Гурьев приехал в половине одиннадцатого, в темноте, на «виллисе», и с ним был майор из штаба дивизии, которого я видел второй раз в жизни.

Стрельба к этому времени кончилась. На дороге работали уже другие: Мельников принял участок, выставил охранение, собрал пленных в конце выемки под отдельным караулом. У автобуса стояли Тимохин с Гаврилюком и ждали Зосю. Под ольшаником, на торфяной колее, гудели моторы — Жаров грузил первых.

Мы разложили карту на капоте, при свете подфарника, накрытого тряпкой.

— Докладывай, — сказал Гурьев.

Я доложил.

Майор из дивизии слушал и всё время смотрел не на карту, а вдоль дороги, где в темноте шли и шли выводимые люди, и один раз перебил:

— Сколько их?

— Пока не считали. Больше пятисот.

— А точнее?

— Точнее будет к утру, товарищ майор. Сейчас мы их не считаем, мы их выводим.

Он хмыкнул и записал что-то.

И тогда заговорил Седов.

Он стоял чуть в стороне, и я, честно сказать, ждал, что он сейчас скажет про свой заслон — он имел на это полное право, потому что без него ничего бы не вышло.

Он сказал другое.

— Товарищ подполковник, разрешите. — Он подошёл к капоту. — Я хочу, чтобы в разборе было записано две вещи, и обе неприятные.

— Говори.

— Первое. — Он положил палец на карту, туда, где были отмечены пристрелянные участки. — Если бы сегодня в двадцать сорок дивизион отработал по плану от двадцать девятого июня, он бы положил снаряды вот сюда и сюда. А колонна в двадцать сорок была вот здесь. Я это видел с перекрёстка своими глазами, я её всю видел, когда она входила в выемку. Люди шли по всей ширине дороги. Это надо записать не как «удалось избежать», а как «удар пришёлся бы по пешей колонне гражданских».

Майор поднял голову.

— Вы понимаете, что вы сейчас говорите про решение штаба полка?

— Понимаю, — сказал Седов. — Я про решение, а не про людей. Решение было принято по сведениям от двадцать девятого июня, и сведения были неполные, и никто в этом не виноват. Виноваты будут, если после сегодняшнего продолжат считать, что там был один транспорт.

Глава 6



Гурьев смотрел на него молча.

— Второе, — сказал Седов. — Я хочу, чтобы в разборе была задержка у мостика.

— Какая задержка? — спросил майор. — Мостик взорван вовремя.

— Вовремя он взорван потому, что я успел на заслон, — сказал Седов. — А я шёл одиннадцать километров лесом и пришёл с запасом в сорок одну минуту. Если бы у меня в болотине повозка с боеприпасами завязла на час с лишним, я бы опоздал к проходу охраны, и Гринёв сегодня не начал бы вовсе, и колонна ушла бы в Дубраву. Вот это я и хочу видеть на бумаге: что вся штука держалась на этих сорока одной минуте.

— Зачем? — сказал майор.

И вот тут Седов сказал то, из-за чего я потом полночи не спал.

— Затем, товарищ майор, что через месяц кто-нибудь прочитает про сегодняшнее и скажет: а вот Гринёв же не стрелял по колонне и всё у него вышло. И полезет делать так же там, где у него не будет ни выемки, ни заслона, ни времени. И положит людей вдвое больше, чем если бы просто ударил. — Он выпрямился. — Я это говорю, потому что я сам из тех, кто полез бы.

Гурьев наконец усмехнулся — коротко, невесело.

Гурьев потёр глаза, потом постучал по карте.

— Так и запишите: сегодня получилось потому, что разведка подтвердила людей, было куда их вывести и Седов успел закрыть выход. Без этого нашу схему на другую дорогу не переносить.

— Ещё машины, — сказал майор, задержав карандаш. — Я видел, сколько там лежачих.

— И машины. И связь: чтобы огонь остановить сразу, а не связного посылать. Всё запишите, иначе выйдет красивая сказка.

— И ещё одно, — сказал я.

— Ну?

— Артиллерийский запрет с ориентирами, а не словами. Как сегодня сделала Самойлова.

— Добавьте, — сказал Гурьев майору.

Майор дописал и, не поднимая головы, спросил:

— А если завтра такая же колонна, а условий нет?

— Тогда завтра будет плохо, — сказал Гурьев. — И решать будет тот, кто там стоит. Мы ему сегодня ничего не облегчили, товарищ майор. Мы ему только запретили врать, что он не знал.

Он сложил карту.

— Гринёв. Люди твои?

— Мои до утра. Потом сдам по назначению.

— До утра, — сказал Гурьев. — Утром за ними приедут из тыла армии, и вот тогда ты им их отдашь по счёту, а не по совести. Но до утра — твои. Иди работай.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.